

ЧАРЛЬЗ МАССОН

ПОВЕСТВОВАНИЕ
О РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ
ПО БЕЛУДЖИСТАНУ,
АФГАНИСТАНУ И ПЕНДЖАБУ

включая пребывание в этих странах
в 1826–1838 годах

ТОМ IV

Путевые записки XIX века

Чарльз Массон

**Повествование о различных
путешествиях по Белуджистану,
Афганистану и Пенджабу. Том IV**

«Автор»

2026

Массон Ч.

Повествование о различных путешествиях по Белуджистану, Афганистану и Пенджабу. Том IV / Ч. Массон — «Автор», 2026

Четвёртый том путевых записок Чарльза Массона переносит читателя в Белуджистан 1840 года. Отправившись из Карачи через пустынные равнины и горные перевалы к Калату, путешественник оказывается свидетелем распада прежнего порядка. Он рассказывает о падении хана Мехраб-хана, политических интригах, осаде крепости и собственном пленении вместе с британским офицером Лавдеем. На страницах книги оживают придворные переговоры, опасные дороги, жизнь кочевых племён и судьбы людей, оказавшихся между противоборствующими силами. Во второй части личную хронику сменяет подробное исследование: Массон описывает географию Восточного Белуджистана, происхождение и обычаи племён, устройство власти, торговлю, земледелие, языки, древности и природные богатства края. Автор заметок Чарльз Массон, Автор перевода Д.В. Ткаченко. 2026 г. Москва Оригинальное издание отнесено к категории общественного достояния, перевод защищен авторским правом.

© Массон Ч., 2026

© Автор, 2026

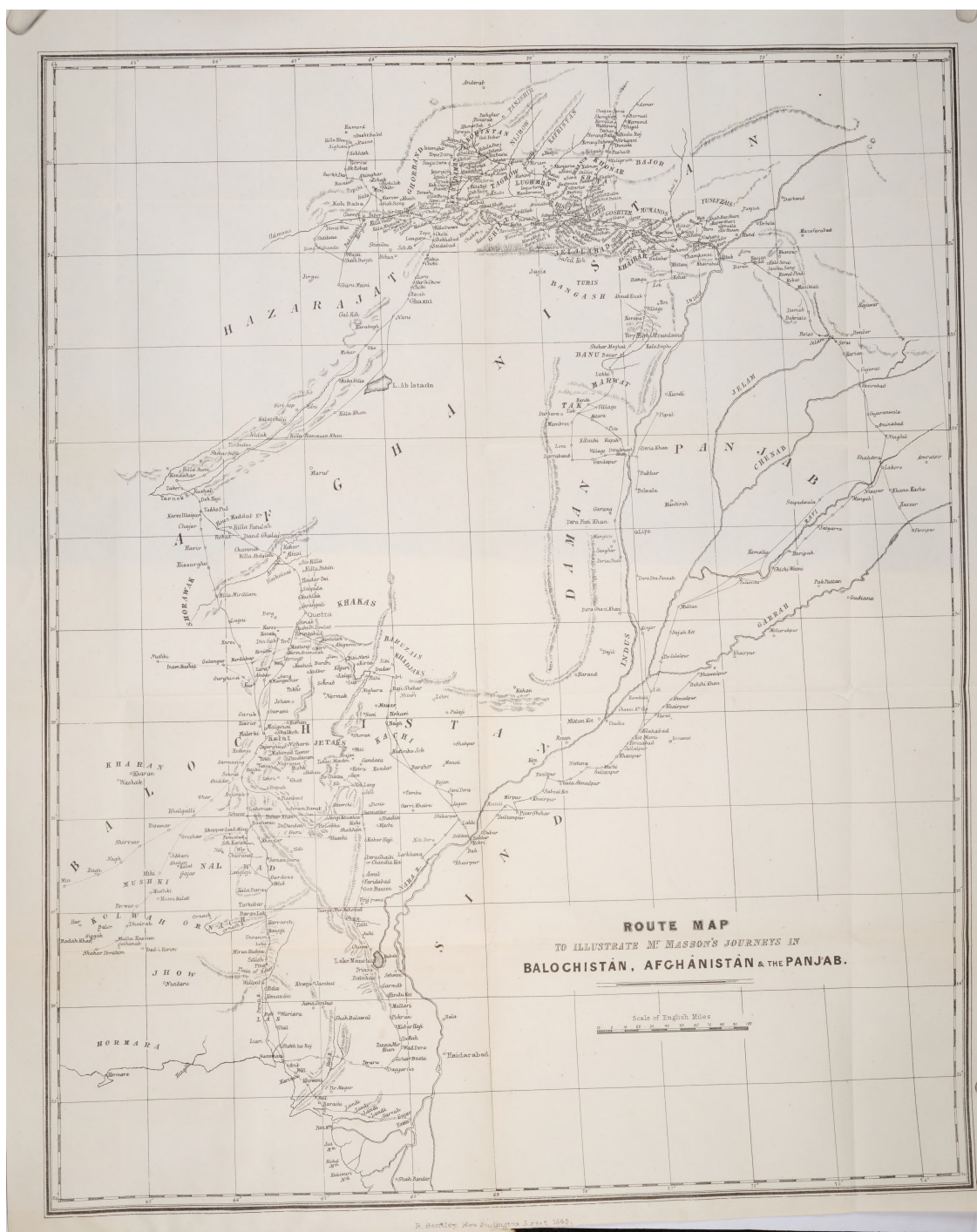
Чарльз Массон
Повествование о различных
путешествиях по Белуджистану,
Афганистану и Пенджабу. Том IV

ЧАРЛЬЗ МАССОН

ПОВЕСТВОВАНИЕ О РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

ТОМ IV

МАРШРУТНАЯ КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ МАССОНА



ПОВЕСТВОВАНИЕ О РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО БЕЛУДЖИСТАНУ, АФГАНИСТАНУ, ПЕНДЖАБУ И КЕЛАТУ

Во время пребывания в этих странах.

К которому добавлены рассказ о восстании в Келате и очерк Восточного Белуджистана.

Чарльз Массон, эсквайр

С большой картой и многочисленными гравюрами.

В четырёх томах.

ТОМ IV

Лондон: Ричард Бентли, Нью-Бёрлингтон-стрит, издатель Её Величества.

1844

ПРЕДИСЛОВИЕ

На следующих страницах содержится краткий рассказ о восстании в Белуджистане — лишь одном эпизоде великой политической драмы, разыгравшейся к западу от Инда, но заслуживающем внимания как предвестник катастрофы, впоследствии происшедшей в Кабуле.

Том завершается очерком Восточного Белуджистана, который, при всём его несовершенстве, может оказаться полезным, если дополнит имеющиеся ныне сведения об этой стране. К нему приложена карта, показывающая маршруты, относящиеся к моей прежней публикации, и в известной мере восполняющая недостаток, на который справедливо указывали.

Лондон, 1 февраля 1843 года.

СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО ТОМА

ГЛАВА I. С. 1

Цели путешествия. — Выбор маршрута. — Положение в стране. — Рассказ капитана Аутрама. — Обвинения в адрес Рехим-хана. — Отъезд из Карачи. — Путь в Сунмиани. — Приём в Сунмиани. — Встреча с джамом. — Дарбар. — Поведение Рехим-хана. — Настроения в Ласе. — Встреча с Рехим-ханом. — Его удовлетворение. — Оправдание Рехим-хана. — Отъезд из Сунмиани. — Происшествия в Обади. — Пыльный вихрь. — Прибытие в Белу. — Задержки и тревожные слухи. — Нерешительность моего спутника. — Его отъезд. — Брат Мехраб-хана. — Письмо капитана Уоллеса. — Посланец лейтенанта Лавдея. — Встреча с братом Мехраб-хана. — Его бедственное положение и намерения. — Отъезд из Белы. — Размышления о неопределённости, царившей в Ласе. — Учреждение политического агентства и его упразднение.

ГЛАВА II. С. 36

Валипат. — Вступление в горы. — Старый знакомый. — Путь к Миран-Куштеху. — Путь к Баран-Лаку. — Туркабур. — Кала-Дара. — Обзор пути. — День в Кала-Даре. — Подступы к Ваду. — Приём в Ваде. — Прибытие Мир Рахмата. — Его развлечения. — Афганский хаджи. — Легкомыслие Мир Рахмата. — Чернокожие невольники. — Мнения в Ваде. — Возвращение Шир-Махомеда. — Отъезд из Вада. — Сад Иса-хана. — Путь в Багван. — Встреча с Хан-Махомед-ханом. — Свинцовые рудники Каппара. — Гохар-Баста. — Прибытие в Багван. — Любезности Шах-Наваз-хана. — Беседа с ним. — Мир Атта-хан. — Путь в Келат. — Зохвар. — Лакориан. — Гохар-Баста. — Анджира. — Любезный приём в Сохрабе. — Путь в Родинджо. — Приём там. — Прибытие в Келат. — Приветствия друзей. — Замечание лейтенанта Лавдея. — Репутация лейтенанта Лавдея. — Встреча с лейтенантом Лавдеем. — Разговор. — Вторая встреча. — Разговор с мунши Гулам-Хусейном. — Выбор жилища. — Нежелание вновь посещать лейтенанта Лавдея.

ГЛАВА III. С. 77

Положение Келата. — События, приведшие к нему. — Начало отношений с Мехраб-ханом. — Сведения сэра Александра Бёрнса. — Протест против договора. — Взятие Келата и гибель Мехраб-хана. — Перемены в управлении и раздел Келата. — Мнения о виновности или невинности Мехраб-хана. — Обвинения против него. — Их разбор. — Действия посланника и министра. — Подкуп им наиба Муллы Хасана. — Двумирие и плутовство наиба. — Миссия сэра Александра Бёрнса в Келат. — Её последствия. — Поход войск на Келат. — Продолжающееся плутовство приближённых хана. — Пренебрежение хана оборонительными приготовлениями. — Штурм Келата. — Раскрытие вероломства наиба Муллы Хасана и других. — Наставления Мехраб-хана сыну. — Драгоценности, захваченные в качестве добычи. — Неразумные меры политических властей. — Раздел страны. — Признание Шах-Наваз-хана. — Политическое назначение. — Деятельность лейтенанта Лавдея. — Сын Мехраб-хана — беглец в Харане.

ГЛАВА IV. С. 116

Пребывание в Келате. — Паника в стране. — Прибытие каравана. — Несчастье Яйи, дехвара. — Всеобщее смятение. — Начало восстания и истребление отряда сипаев в Мастунге. — Отказ покинуть Келат. — Действия дароги Гуль-Махомеда. — Тревога в Келате. — Переезд в предместье Баби. — Дарбар Шах-Наваз-хана. — Проживание в саду Атта-Махомеда. — Предосторожности Файз-Ахмеда. — Нападение на Кветту. — Решительность лейтенанта Лича. — Отступление мятежников от Кветты. — Замечание лейтенанта Лавдея. — Меры Шах-Наваз-хана. — Его приёмы. — Интриги в Келате. — Причины недовольства. — Дипломатические промахи в Качи. — Приглашение лейтенанта Лавдея. — Встреча с ним. — Согласие оставаться с ним во время осады. — Хаджи Осман. — Состояние оборонительных сооружений. — Попытки их улучшить. — Расстановка людей на стенах. — Расположение укреплений. — Приготовление.

ГЛАВА V. С. 142

Появление неприятеля. — Немедленная атака. — Отражение нападавших. — Воодушевление людей Камал-хана. — Разговор с Камал-ханом и Хан-Махомедом. — Недостаток великодушия у Шах-Наваз-хана и лейтенанта Лавдея. — Беседа с Мир Бохером. — Устранение его сомнений. — Упражнения с орудиями. — Новое нападение. — Планы мятежников. — Поджог предместий. — Предусмотрительность Асад-хана. — Ожидание штурма. — Приготовление к нему. — Штурм. — Его отражение. — Храбрость Насруллы и отряда сипаев. — Опасность, угрожавшая Шах-Наваз-хану. — Сдача сына Джелал-хана. — Последствия поражения. — Измена части гарнизона. — Посещение места штурма. — Новое нападение. — Лейтенант Лавдей в опасности. — Отражение нападения. — Паника в городе. — Двусмысленное поведение Камал-хана. — Уныние Шах-Наваз-хана. — Прибытие вакиля от мятежников. — Советование Камал-хана с предводителями мятежников. — Желание Шах-Наваз-хана и Мир Бохера продолжить оборону. — Нерешительность лейтенанта Лавдея. — Распоряжение Шах-Наваз-хана. — Пагубные советы окружения лейтенанта Лавдея. — Посольства лейтенанта Лавдея в лагерь мятежников. — Срыв усилий Шах-Наваз-хана удержать власть. — Плутводство приближённых лейтенанта Лавдея. — Их ликование по поводу его доверчивости. — Отказ лейтенанта Лавдея покинуть Келат. — Известия из Кветты. — Последняя попытка Шах-Наваз-хана убедить лейтенанта Лавдея отправиться с ним. — Новые посольства в лагерь мятежников. — Страх Мир Фати-хана. — Шах-Наваз-хан отправляется в лагерь мятежников. — Его отречение и забота о лейтенанте Лавдее. — Вступление сына Мехраб-хана в город. — Посещение Файз-Ахмеда. — Прощальный визит Шах-Наваз-хана. — Лейтенант Лавдей подносит назары молодому хану и Биби Ганджани. — Его роковые ошибки. — Мои советы и поведение. — Моё дальнейшее пребывание и его причины.

ГЛАВА VI. С. 181

Продолжающиеся заблуждения и предательство. — Разлад среди брахуйских советников. — Назначение Махомед-Сидика. — Приказы из цитадели. — Переписка с капитаном Бином и известия от него. — Продвижение войск к Мобаху. — Их отступление. — Измена хаджи Османа. — Предложения капитана Бина. — Попытки получить письмо к королю. — Упрямые убеждения дароги. — Предполагаемые меры. — Их отклонение. — Отъезд Гафура в Кветту. — Ответы капитана Бина. — Требования к лейтенанту Лавдею. — Последние предательские действия Насруллы. — Замышляемое нападение. — Предварительные шаги. — Нападение из цитадели и окрестных домов. — Ночные события. — Переговоры. — Измена части сипаев. — Меры дароги. — Проникновение в дом. — Перевод лейтенанта Лавдея и меня в цитадель. — Происшествия там. — Встреча с сыном Мехраб-хана. — Помещение, назначенное нам для заключения. — Ликование брахуев. — Утрата имущества и рукописей.

ГЛАВА VII. С. 203

Кровавая комната. — Характер нашего содержания под стражей. — Оскорбления со стороны брахуев. — Шагасси Вали-Махомед. — Обращение с нами. — Слуги лейтенанта Лавдея.

— Разочарование дароги. — Встреча с дарогой. — Его предложение. — Условие лейтенанта Лавдея. — Гнев дароги. — Намерение дароги. — Исчезновение Сампата. — Его возвращение. — Подозрения относительно сокровищ и драгоценностей. — Опасность для лейтенанта Лавдея. — Предотвращение её Файз-Ахмедом. — Встреча лейтенанта Лавдея с дарогой. — Письма капитану Бину. — Предполагаемое выступление брахуев из Келата в Мастунг. — Отказ освободить меня из-за высказываний лейтенанта Лавдея. — Прибытие письма и посланца Рехим-хана. — Сожаление посланца. — Прибытие Мир Азем-хана в Келат.

ГЛАВА VIII. С. 220

Отъезд в Мастунг. — Сцена в Келате. — Насрулла. — Молодой хан. — Путь в Мастунг. — Происшествие в Карез-Аманулле. — Прибытие дароги и сардаров. — Встреча с дарогой. — Письма капитана Бина. — Бдительность дароги. — Лейтенанта Лавдея заковывают на ночь. — Злоба Юсуф-хана. — Въезд в Мастунг. — Место заключения. — Встреча с Каликдадом. — Подготовка писем в Кветту. — Сведения о Гулам-хане. — Его прибытие в лагерь. — Перехваченные почтовые отправления. — Негодование брахуев. — Извинения Каликдада за меня. — Встреча с дарогой. — Отчёт о разговоре. — Дополнительные караулы и вызванные ими неприятности. — События в Мастунге. — Недовольство Махомед-хана. — Присоединение вождей Котру и Мир Бохера. — Несчастье майора Клиборна. — Прибытие сайида Мубарак-шаха. — Его инструкции от капитана Бина. — Послабления лейтенанту Лавдею. — Официальная встреча с молодым ханом и сардарами. — Письма капитана Бина. — Негодование брахуев. — Чтение фатихи и решение убить нас. — Опасения лейтенанта Лавдея. — Ужас его слуг. — Добрые услуги раиса Харуна. — Встреча с дарогой. — Ходатайство родных и друзей Рехимдада. — Отвращение, вызванное письмом капитана Бина. — Дорога берёт лейтенанта Лавдея под защиту. — Раис Харун добивается разрешения на мой отъезд в Кветту. — Отъезд из Мастунга. — Происшествия в пути. — Прибытие в Кветту. — Встреча с политическими чиновниками.

ГЛАВА IX. С. 253

Разговор с капитаном Бином. — Помещение под арест. — Необычайность этой меры. — Вопросы капитана Бина. — Встреча с ним. — Причина его поведения. — Впечатления о посланнике и министре. — Бесчеловечное обращение капитана Бина. — Опасения в Кветте. — Письмо посланника и министра. — Поражение брахуев и гибель лейтенанта Лавдея. — Возвращение Келата. — Перемена настроений. — Письма из Калькутты. — Расследование мистера Росса Белла. — Признание капитана Бина. — Завершение расследования мистера Белла. — Его рекомендация правительству. — Поддержка посланника и министра. — Уклончивость правительства. — Великодушие полковника Стейси. — Отъезд из Кветты. — Происшествия в Боланском проходе. — Прибытие в Дадар. — Свидетельство Молахдада. — Путь через Качи. — Положение в стране. — Мир Фати-хан. — Его благодарность и предложения. — Прибытие в Карачи. — Бомбей. — Урегулирование положения в Белуджистане. — Признательность полковника Стейси. — Плоды успешных усилий полковника Стейси. — Отъезд из Бомбея в Англию. — Докладная записка Совету директоров. — Вторая докладная записка. — Результаты. — Заключительные замечания.

ОЧЕРК ВОСТОЧНОГО БЕЛУДЖИСТАНА

ЧАСТЬ I. ГЕОГРАФИЯ. С. 281

Первый, или Западный раздел: Нушки — с. 283; Ханан — с. 286; Мушки — с. 288; Колва — с. 289; Джоу — с. 290; Панджгур — с. 291; Кедж — с. 292.

Второй, или Приморский раздел, с. 294: Лас — с. 296; Хормара — с. 307; Пессани — с. 308.

Третий, или Центральный раздел: Сахараван — с. 309; Шалл — с. 311; Мастунг — с. 313; Мангачар — с. 315; Дашт-Бидовлат — с. 318; Келат и окрестности — с. 319; округа в горах между Сахараваном и Кач-Гандавой — с. 322; округа в горной местности к западу от Сахаравана — с. 324; Джалаван — с. 327.

Четвёртый, или Восточный раздел: Кач-Гандава — с. 329; Харанд и Даджил — с. 335.

ЧАСТЬ II. ПЛЕМЕНА ВОСТОЧНОГО БЕЛУДЖИСТАНА. С. 336

Раздел I. Племена западных провинций — с. 340; раздел II. Племена Сахаравана — с. 340; раздел III. Племена Джалавана — с. 345; риндские племена Кач-Гандавы — с. 346; джеты Кач-Гандавы — с. 351; лумри Ласа — с. 352; приморские племена морских портов — с. 353; дехвары столицы и постоянных поселений — с. 353; афганцы Шалла — с. 353.

ЧАСТЬ III. УПРАВЛЕНИЕ И ИСТОРИЯ. С. 355

ЧАСТЬ IV. ДРЕВНОСТИ И НАРЕЧИЯ

Древности — с. 386; наречия — с. 393.

ЧАСТЬ V. ВОЕННАЯ СИЛА, ДОХОДЫ, ТОРГОВЛЯ, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ПРОЧЕЕ

Военная сила — с. 404; доходы — с. 407; торговля — с. 408; земледелие — с. 412; садоводство — с. 415.

ЧАСТЬ VI. ПРАВЫ, ОБЫЧАИ И ПРОЧЕЕ. С. 418

ЧАСТЬ VII. ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

Четвероногие — с. 444; насекомые — с. 447; земноводные — с. 448; ботаника — с. 449; минералогия — с. 459.

ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПУТЕШЕСТВИИ В КЕЛАТ

С включением рассказа о восстании в Белуджистане и других событиях.

ГЛАВА I

Цели путешествия. — Выбор маршрута. — Положение в стране. — Рассказ капитана Аутрама. — Обвинения в адрес Рехим-хана. — Отъезд из Карачи. — Путь в Сунмиани. — Приём в Сунмиани. — Встреча с джамом. — Дарбар. — Поведение Рехим-хана. — Настроения в Ласе. — Встреча с Рехим-ханом. — Его удовлетворение. — Оправдание Рехим-хана. — Отъезд из Сунмиани. — Происшествия в Обади. — Пыльный вихрь. — Прибытие в Белу. — Задержки и тревожные слухи. — Нерешительность моего спутника. — Его отъезд. — Брат Мехраб-хана. — Письмо капитана Уоллеса. — Посланец лейтенанта Лавдея. — Встреча с братом Мехраб-хана. — Его бедственное положение и намерения. — Отъезд из Белы. — Размышления о неопределённости, царившей в Ласе. — Учреждение политического агентства и его упразднение.

Отправив в начале 1840 года в Англию для опубликования различные рукописи, я оказался в Карачи, в Синде, и, как мне казалось, мог свободно отправиться куда пожелаю; обдумывая дальнейшие литературные и научные труды, я решил вернуться в Кабул и в страны, к которым относились ещё остававшиеся у меня материалы, полагая, что там смогу точнее и успешнее подготовить их к печати. Кроме того, я желал продолжить свои исследования древностей, надлежащему ведению которых препятствовала государственная служба, и довести до конца изучение некоторых вопросов, которые, как я был уверен, поддавались проверке, но которыми по той же причине был вынужден пренебречь.

По моим расчётам, двух лет в Афганистане было бы достаточно для осуществления этих целей, а общее время моего отсутствия составило бы около трёх лет.

Склоняясь к дороге на Келат, по которой мне уже дважды случалось путешествовать, я должен был прежде выяснить, разумно ли ею воспользоваться, поскольку, разумеется, знал, что теперь установился новый порядок вещей и что недавние политические события могли пробудить среди людей, с которыми мне предстояло встретиться, чувства, ещё десять лет назад им неведомые. К тому же Рехим-хан, сын мингальского сардара Вали-Махомед-хана, убитого

при Келате, теперь жил в Ласе и пользовался властью, поскольку женился на сестре молодого правителя, именуемого джамом.

Пока я пребывал в этой неопределённости, мой прежний спутник Каликдад, с которым я совершил первое путешествие в Келат, описанное в моей уже известной публике книге,* прибыл в Карачи по торговым делам. Лучшего советчика я не мог бы пожелать; когда мы с ним поговорили, он ободрил меня и справедливо заметил, что сам будет со мной. Прежде я уже убедился, что его общества было достаточно, чтобы обеспечить мне безопасность.

* См. том II, главу 2, «Путешествия по Белуджистану, Афганистану и Пенджабу» и т. д.

В то время индийское правительство чрезвычайно заботилось о том, чтобы все поверили, будто каждая цель экспедиции за Инд была достигнута, будто затронутые ею страны пребывают в невиданном дотоле спокойствии и благоденствии и будто их жители с восторгом приветствуют введенные новшества и происшедшие перемены. Министры в Англии стремились распространять те же представления как в палатах парламента, так и на других публичных собраниях. Однако у меня на этот счёт были сомнения, побудившие спросить Каликдада о численности войск в Кветте и Келате; узнав, что в первом месте находится тысяча двести человек, а во втором — двести, я успокоился, поскольку в таких обстоятельствах едва ли следовало ожидать немедленного восстания. Что в Кандагаре, равно как и в Кабуле, находились значительные силы, мне было известно и без него. Каликдад, впрочем, признавал, что племена брахуев и белуджей, хотя и оставались бездеятельными, находились в состоянии сильного раздражения, особенно из-за присоединения Кач-Гандавы к владениям шаха Шуджи аль-Мулька. Кроме того, он сообщил мне, что Мир Азем, брат покойного Мехраб-хана, живёт в Беле, в Ласе, на скудные подаяния джама, а Махомед-Хасан, малолетний сын покойного правителя Келата, скрывается в Харане вместе с дарогой Гуль-Махомедом. Что касается управления Келатом, он знал лишь то, что Шах-Наваз-хан находится там у власти, но не мог сказать, является ли тот независимым правителем или только держит власть по доверенности; столь же загадочными были для него и все прочие распоряжения относительно этой страны.

Мы условились с купцом, что я присоединюсь к его каравану, который должен был собраться в Сунмиани, и буду сопровождать его до Белы, откуда мы вместе быстро отправимся в Келат, поскольку он хотел позаботиться о своих тамошних землях, а я — попасть в прохладный и приятный климат. Караван же должен был следовать неторопливо, вместе с моими слугами и вещами. Каликдад вернулся в Сунмиани, обещав написать, когда караван будет готов, и сообщить, какого приёма мне ожидать от Рехим-хана. Со временем я получил от него два письма с общими заверениями, что всё благополучно, но без каких-либо определённых упоминаний о Рехим-хане или о его настроении. Так как мне не терпелось отправиться в путь, я не стал особенно придирается к этим упущениям в письмах и истолковал их самым благоприятным образом: если бы дело обстояло плохо, Каликдад известил бы меня, тем более что я знал о его личной близости с этим вождём.

За день или два до отъезда из Карачи я обедал с капитаном Уоллесом, помощником политического агента, майором Форбсом, командовавшим 2-м Бомбейским гренадерским полком, и капитаном Ле Мезюрье из управления генерал-квартирмейстера. Последний любезно дал мне взглянуть на опубликованный рассказ капитана Аутрама, который, как он полагал, должен был меня заинтересовать, поскольку включал описание стремительного путешествия из Келата в Сунмиани. Заключительный абзац этой брошюры действительно содержал сведения, заставившие меня насторожиться, ибо относился как раз к Рехим-хану, относительно намерений которого у меня были сомнения, не рассеянные письмами Каликдада.

Капитан Аутрам пишет: «Из Карачи я отправился в Бомбей, и спустя несколько дней после моего прибытия туда высадились также партия белуджских торговцев лошадьми, отплывших из Сунмиани вскоре после того, как я покинул этот порт. Они рассказывают, что в пол-

ночь того вечера, когда я отплыл, сын Вали-Махомед-хана (вождя Вада, погибшего при штурме Келата) в большой спешке прибыл с отрядом, преследуя меня, и, узнав, что я уже уехал, выказал крайнее разочарование и раздражение. По-видимому, сведения о моём путешествии и переодевании достигли этого вождя на следующий день после того, как я проехал Нал. Таким образом, своим спасением я, вероятно, главным образом обязан форсированному переходу в пятьдесят миль, который наш отряд совершил оттуда, намереваясь опередить быстро распространявшуюся весть о падении Келата, поскольку мои преследователи не застали меня в морском порту Сунмиани всего на несколько часов».

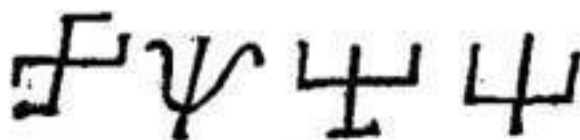
Хотя я и не мог сомневаться, что капитан Аутрам получил упомянутые сведения от торговцев лошадьми, мне хотелось надеяться, что они ввели его в заблуждение. О Рехим-хане я знал только то, что он сын достойного отца; но, размышляя об обязанности кровной мести, соблюдаемой в брахуйском обществе с исключительной строгостью, и о том, как мог поступить Рехим-хан в своём положении, я допускал, что он мог искать удовлетворения жажды мести в горах между Белой и Налом, однако едва мог поверить, что он решился бы на подобное действие на земле Ласа, где столь же строгая обязанность считаться с интересами молодого джама удержала бы его. К тому же в Ласе, какое бы влияние ни имел Рехим-хан, он всё-таки оставался пришельцем, и слишком многие люди были заинтересованы в том, чтобы не позволить ему столь опрометчивым поступком навлечь месть на них самих и на их маленькую область.

Я не опасался Рехим-хана в Ласе, но Рехим-хан в горах внушал подозрения; тем не менее, полагаясь на Каликдада и собственную удачу, я решил продолжать путешествие, к которому всё уже было готово, не дожидаясь дальнейших объяснений.

Вечером 30 апреля я покинул Карачи в сопровождении старого слуги Расула, кашмирца, и случайного спутника — хаджи из Газни, который присоединился к нам в расчёте на то, что мы обеспечим его всем необходимым по дороге домой. Я также нанял двух проводников для перехода через страну до Сунмиани; их верблюды заодно облегчали поклажу моих собственных животных, которых у меня было трое. Я ехал верхом на превосходной кабульской лошади, а мои люди шли пешком. Одет я был в свой обычный кабульский костюм, но нисколько не собирался, если бы это вообще было возможно, скрывать, что я ференги.

Наша дорога пересекала ровную равнину, пока мы не приблизились к невысоким отдельным холмам, предшествующим долине реки Хаб. Ночью мы наткнулись на людей, которые спали у дороги так крепко, что даже не проснулись, когда мы проходили мимо, хотя Бадиль, молодой парень, один из проводников, шедший впереди и ведший верблюдов, весело распевал песни. Рассвет застал нас в долине Хаба, прежде чем мы добрались до реки. Пространства здесь было вдоволь, а земля, усеянная низкорослыми деревьями и кустарниками, давала хороший корм верблюдам и много травы для прочего скота. Ни хижин, ни жилищ мы не заметили, но столбы дыма, поднимавшиеся в разных местах над скудной листвой окрестностей, указывали, где их можно найти. На всём пути от Карачи до долины неизменно встречался млечный кустарник тур, или опунция, а теперь появились низкорослые деревья — беры, кареры и мимозы. Русло реки было широким и песчаным, но в это время сплошного потока воды в нём не было. Долина своим мирным и безмятежным видом составляла разительный контраст с верхним течением этой реки, которое мне довелось увидеть несколько лет назад, когда я пересекал её по пути из Даггар-ди-Гота в Сунмиани. Берега реки поднимались примерно на двадцать футов, а ширина русла между ними составляла около двухсот футов.

Сразу за рекой каменистая земля, поросшая кустами тура, постепенно поднимается к гряде холмов. Некоторые из них довольно высоки, но они не образуют непрерывной цепи, и дорога проходит через промежуток между ними почти без изменения высоты. У подножия более высоких холмов справа от тропы лежат большие обломки скал. Передняя сторона одного из них покрыта белой краской, поверх которой красным и чёрным нанесено множество символических знаков, обозначающих границу между Синдом и Ласом.



Эти знаки любопытны тем, что встречаются на многих индоскифских монетах, столь многочисленных среди находок в Афганистане и Пенджабе, и обычно считаются буддийскими символами. Первый слева, несомненно, представляет собой свастику, или священный крест; остальные, возможно, являются сочетаниями букв мистического либо светского значения.

Основание холмов сложено известняком с раковинами; их склоны усеяны обломками миндалекаменной породы и конгломерата. Окаменевшие раковины, преимущественно аммониты, столь распространены, что даже самый маленький камешек несёт их следы; это замечание относится ко всему пространству между Карачи и Сунмиани.

От пограничных скал мы пересекли засушливую, унылую равнину, пока не достигли водоёма с солоноватой водой, где остановились. Учитывая, что мы шли почти всю ночь, а день уже далеко продвинулся, мы вряд ли могли пройти до этого места, именуемого Бховани, менее двадцати или двадцати двух миль.

Жара стояла чрезвычайно сильная, и единственную доступную защиту от неё давала слабая тень крохотного дерева бер возле края мутного водоёма. Верблюды — то ли уставшие, то ли изнурённые зноем — вяло объедали редкие кусты по берегам. Днём временами появлялись отары овец и коз, а также многочисленное стадо горбатого рогатого скота в столь превосходном состоянии, что становилось ясно: как бы безотрадно ни выглядела местность, поблизости имелись хорошие и обильные пастбища. Эти животные принадлежали шейхам, одному из ласских племён, живущему к западу от реки Хаб.

Немного дальше нас стоял караван из Сунмиани, вёзший топлёное масло в Карачи; на выбранном им месте стоянки было несколько колодцев, вода из которых была ещё менее приятна на вкус, чем из нашего мутного пруда. День, проведённый мною здесь, показался долгим и тягостно-бездеятельным. Мы выступили из Бховани перед закатом, и впереди нас простиралась пересечённая бесплодная местность. Ночь была уже далеко за полночь, когда шум прибоя хриплым рокотом возвестил о близости моря. Через некоторое время дорога, огибая страшный обрыв, вошла в тёмное узкое ущелье между высокими каменными стенами, тянувшееся приблизительно на сто пятьдесят ярдов, выйдя из которого мы оказались на морском берегу. Мы остановились на несколько минут, чтобы полюбоваться светящимися, фосфоресцирующими волнами, великолепно накатывавшими на берег, а затем продолжили путь и на рассвете добрались до Карираха — необитаемого места, служившего стоянкой для путников. Там находился колодец с плохой водой, а за холмами справа от нас, как нам сказали, была деревня из хижин. Грубой травы и корма для верблюдов имелось в изобилии.

Я не нашёл более надёжного укрытия, чем куст тура, и по мере того, как солнце перемещалось по небу, переходил вслед за его изменяющейся тенью. Вороны и майны были так прожорливы, что садились на горбы верблюдов и буквально проклёвывали в них дыры; майны точно так же обращались с моей лошадью, и бедное животное, столь измученное ими, а также полчищами мух и мошек, сорвалось с привязи, и поймать его удалось лишь после долгой погони по берегу, где непривычный вид волн, по-видимому, озадачил его, так что оно остановилось и позволило себя схватить.

Вечером мы с радостью покинули это докучливое место и, следуя вдоль берега, ночью достигли Баг-Амба (мангового сада), где обнаружили одинокое манговое дерево и водоём; поблизости имелось также несколько колодцев и хижин.

Утром мы выступили к Сунмиани по твёрдой ровной равнине, пройдя приблизительно на полпути мимо нескольких хижин лумри. Крестьяне и крестьянки, нёсшие кувшины с молоком и простоквашей, возвестили нам о близости маленького морского порта. Я значительно опередил спутников и догнал нескольких мужчин, гнавших в город верблюдов. Один из них спросил, не Массон ли я, и сообщил, что служит у Каликдада, после чего, встав перед моей лошастью, повёл меня к жилищу своего хозяина.

Каликдад, зная о моём приближении, отправился известить Рехим-хана и подыскать мне дом. Он вернулся с диваном Тиратом, индусом, служившим агентом джама, и после обильных приветствий было решено, что для моего размещения лучше всего подойдёт храм раджи Гопинд-Чанда (мусульманского пира Паттара), куда меня и проводили. Диван ушёл и вскоре вернулся с овцой, корзинами риса, муки и сахара, сосудом топлёного масла, дровами и прочими необходимыми вещами. Принесли жерди, чтобы поставить палатки, но я возразил против таких хлопот.

Индусский храм состоял всего из одной маленькой комнаты, и когда Каликдад принёс полдюжины кур, а другие мои старые знакомые выразили радость от новой встречи, поднеся разнообразные припасы, помещение стало весьма походить на хорошо снабжённый докан, или лавку. Ещё в Карачи я узнал, что мой прежний приятель-индус Тах-Мал умер в стеснённых обстоятельствах, и, не увидев среди посетителей его сына Папу, спросил о нём. Тот вскоре появился, заметив, что, когда ему сказали, будто с ним желает встретиться ференги, он сразу понял, что это мог быть только Массон. Вечером по распоряжению джама меня официально посетила депутация из четырёх человек, передавшая его приветствия и пожелание увидеть меня на утреннем дарбаре.

В назначенное время за мной прислали, и я отправился в резиденцию джама, где проводился дарбар. Молодой правитель, пятнадцати или шестнадцати лет, был настолько мал ростом для своего возраста, что, не видя я его в 1831 году, когда он был ещё младенцем и его носили на руках, я едва ли поверил бы, что он уже столь взрослый. Мне сообщили, что с детства он отличался слабым здоровьем. Он выразил радость по поводу моего приезда и упомянул несколько бхутов, или картинок, которые я подарил ему в прошлый приезд. Одет он был в простую муслиновую рубашу и красные шёлковые шаровары, на голове имел обыкновенную синдскую шапочку, а шёлковый кес, или платок, поддерживал его колени, обвивая их и талию. На пальцах у него было четыре или пять перстней с изумрудами и бирюзой, а перед ним лежала сабля. Черты его лица были правильны, но не резки, а светлое и приятное выражение имело несколько женственный вид. Справа от него сидел Рехим-хан, а рядом с тем — вакиль Алла-Рикка, человек весьма преклонных лет. Слева находились Ибрагим-Рунджа, родственник джама, дарога Сахоу и другие. Вдоль стен помещения расположились самые разные люди: одни сидели, другие, менее привилегированные, стояли. Ничего более непринуждённого, чем дарбар Ласа, трудно было представить. За приветствием молодого джама последовали такие же знаки учтивости от всех сидевших поблизости, причём каждый вставал, когда произносил своё приветствие.

Мне было приятно заметить, что внешность и манеры Рехим-хана внушали к нему расположение, и, когда после обмена приветствиями наступила пауза, я решил испытать его чувства, подняв руки для чтения фатихи по случаю смерти его отца. Если бы он не присоединился к церемонии, это означало бы недостаток учтивости и не оставило бы сомнений в его озлоблении; если же он присоединялся, то его гнев, если таковой существовал, обезоруживался, или, по крайней мере, он уже не мог свободно его удовлетворить. Он тотчас поднял руки; присутствовавшие сделали то же самое, и все прочли фатиху. Когда церемония завер-

шила, я заметил, что его отец жил и умер с честью, что смерть его была волей Божией и что я надеюсь на всяческое благополучие самого Рехим-хана. Он ответил, что отец его пал, как подобает храброму человеку, рядом со своим ага (господином). Я возразил, что такая смерть достойна зависти и что слава его распространилась по всему свету. Рехим-хан явно гордился вниманием, публично ему оказанным, и перестал держаться сдержанно в разговоре. Во время фатихи по изборождённым морщинами щекам старого Алла-Рикки текли слёзы, и воспоминание о достойном Вали-Махомеде заметно растрогало многих собравшихся.

Здесь можно заметить, что фатиха представляет собой не что иное, как повторение начального стиха Корана, и завершается тем, что участники проводят уже поднятыми руками по своим бородам. После смерти мусульманина его родственники принимают этот знак уважения от друзей, и пренебрежение им было бы оскорблением.

Вакиль Алла-Рикка, будучи министром джама, задавал разнообразные вопросы о современной политике: о войне с Китаем и о мятеже Махомеда-Али-паши против султана. Рехим-хан заговорил о Карачи и эмирах Синда, шутливо заметив, что они оказали много кидмата (услуг) и проявили много салука (доброжелательности). Я улыбнулся таким замечаниям, но когда он сказал, что покойный хан Келата до смешного нелепым образом лишился жизни и страны, я ответил: «Это правда: он позволил совершенно себя обмануть». Затем обсуждался климат разных стран, причём самым сведущим в этом предмете оказался Алла-Рикка, вероятно, никогда не выезжавший за пределы Ласа, пока мой друг Каликдад не спросил, не пора ли нам откланяться. Получив утвердительный ответ, я поднялся, и, когда джам тоже собрался встать, попросил его оставаться на месте. Рехим-хан и остальные встали; поклонившись всем сразу, я вышел из комнаты.

На протяжении всей этой встречи болтливый попугай, или майна, развлекал собравшихся своей трескотнёй; в остальном царил образцовый порядок, который, возможно, был предписан заранее. Изредка появлялся какой-нибудь дикий лумри и целовал руку своего юного повелителя. Мать джама обычно присутствовала на дарбаре, и считалось, что эта женщина, слывшая умной, вместе со своим зятем Рехим-ханом в значительной степени управляет страной.

Прошло два или три дня, и я больше не видел сына Вали-Махомеда; однако Каликдад, подолгу бывавший со мной, рассказал о жалобах, которые ласские власти высказывали по поводу поведения синдского губернатора Карачи, предъявлявшего, как утверждалось, несправедливые и обременительные требования и угрожавшего в случае отказа мести находившихся там английских господ. У них имелась и другая серьёзная причина для жалоб, касавшаяся Шах-Наваз-хана, поставленного правителем Келата, который прислал письма с категорическим запретом взимать с товаров, ввозимых в порт, более половины прежде установленных пошлин. Стремление не вызвать неудовольствия заставило повиноваться приказу, хотя доходы государства, главную статью которых составляли сунмианийские таможенные сборы, чрезвычайно уменьшились и это повлекло неудобства.

Оказалось, что Каликдад, вопреки смыслу его писем, всё ещё ожидал прибытия судна из Бомбея. Судно можно было ждать через десять или пятнадцать дней, но я знал, что ещё столько же времени потребуют упаковка товаров, наём верблюдов и прочие приготовления к путешествию. На мгновение я пожалел о своём поспешном отъезде из Карачи, однако случилось так, что некий пирзада из Келата собирался немедленно отправляться в путь, и Каликдад предложил мне поехать с ним; поскольку святой человек не возражал, я согласился.

От моего друга я получил известие, что Рехим-хан желает увидеться со мной наедине; но я ответил, что хотя несколько не возражаю против частной беседы ни с ним, ни с кем-либо ещё, должно быть ясно, что я не имею официального положения и могу только посидеть и поговорить с ним, как всякий дружелюбно расположенный человек; подозреваю, что это сочли отказом от встречи, поскольку больше я ничего об этом не слышал. От дивана Тирата и других посещавших меня людей я иногда слышал пожелание, чтобы молодой джам, к которому они

относились с искренней привязанностью, стал нихалом, или растением, выращенным и взлелеянным сахибами.

Накануне отъезда из Сунмиани я намеревался написать два или три письма друзьям в Карачи, в том числе капитану Уоллесу в благодарность за оказанные мне любезности. Я сказал Каликдаду, что он может сообщить об этом Рехим-хану и что, если тот желает, я изложу злоупотребления губернатора Карачи; я почти не сомневался, что, какими бы незначительными они ни были, им положат конец, поскольку ференги едва ли допустят, чтобы их доброе имя бесчестили.

Каликдад уведомил Рехим-хана, который выразил такое удовлетворение, что купец сказал мне: едва ли тот обрадовался бы сильнее, если бы его отец вернулся к жизни. Он прислал сообщение, что будет благодарен, если я навещу его вечером.

От меня не укрылось, что у властей Ласа, казалось, укоренился страх, будто господа в Карачи собираются либо захватить их страну, либо передать её вождям Синда. Я знал, что эти тревоги были беспочвенны; в самом деле, прежде чем покинуть Карачи, я потрудился выяснить, существовала ли какая-нибудь переписка с правительством Ласа. Оказалось, что нет; однако однажды были получены письма с выражением желания джама засвидетельствовать почтение генералу, на что ему предложили обратиться к политическому агенту в Кветте. Я также узнал, что, когда британские войска впервые высадились в Синде, советники джама послали полковнику Поттинджеру письма с предложением помощи, поскольку война против Синда с англичанами в качестве союзников вполне отвечала их желаниям; кроме того, мне стало известно о предполагавшемся назначении лейтенанта Гордона, находившегося тогда в Бомбее, агентом в Сунмиани, куда он должен был прибыть в сопровождении двух рот туземной пехоты.

Когда я пришёл к Рехим-хану, он отпустил слуг, и мы некоторое время беседовали. Он держался очень прямо и свободно говорил по-персидски. Меня удивило, что он вовсе не возражал против поездки в Карачи, а, напротив, теперь, узнав, что к нему не питают неприязни, хотел туда отправиться, опасаясь лишь обидеть капитана Бина в Кветте и Шах-Наваз-хана в Келате. Он выражал горячее желание поддерживать отношения с сахибами, а не с Шах-Наваз-ханом, который, по его словам, был нехорошим хакамом, или правителем. Поскольку одновременно он упомянул о назначении некоторых лиц на должности при новом правителе Келата, я заподозрил, что его неприязнь главным образом происходила оттого, что его самого не пригласили участвовать в делах. Он сожалел, что не знаком с порядком ведения дел с ференги, а я заверил его, что это не столь трудно, как ему кажется, и почти всё необходимое заключается в том, чтобы заниматься собственными делами и не связываться с дурными людьми, самому быть честным и верить тому, что говорят ференги.

Он заговорил о посылке вакиля в Карачи. Я заметил, что у него не может быть дела, которое он сам не уладил бы лучше, и привёл в пример несчастную катастрофу в Келате, всецело происшедшую вследствие недоверчивости злосчастного хана и предательства его доверенных лиц. Рехим-хан добавил, что теперь видит: ничто не было бы для него полезнее личной встречи с сахибами в Карачи, и заверил меня, что, зная он о моём столь долгом пребывании там, он без колебаний приехал бы. Обратившись к вопросу о снижении пошлин, я выяснил, что приказ из Келата в этом отношении считали чрезмерным применением прерогативы, поскольку ни один из прежних ханов подобным образом не вмешивался в управление страной. Затем Рехим-хан заметил, что мистер Эльфинстон переписывался с покойным джамом Михр-Али и посылал ему подарки, а нынешний джам подумывает отправить верблюдов и кобылиц действующему губернатору Бомбея. Я спросил, не лучше ли было бы обратиться к господам в Карачи и послать дары с их согласия. Он ответил, что им это не приходило в голову, но теперь он считает такой поступок правильным. Наконец он предложил, чтобы джам и он сам написали капитану Уоллесу. Я согласился переслать письма, поскольку мог объяснить обстоятельства их передачи и

знал, что указание обращаться в Келат исходило от военных властей Карачи в то время, когда там ещё не был назначен политический агент. Рехим-хан предложил также написать майору Аутраму, сменившему полковника Поттинджера на посту резидента в Синде. Я сказал, что вреда от этого не будет. Я покинул встречу весьма довольный здравомыслием Рехим-хана и его честными, непритворными манерами. Разумеется, я не мог предугадать, какие последствия будут иметь его письма, но, как я написал капитану Уоллесу, они по крайней мере покажут, что сын Вали-Махомеда не желает считаться врагом.

Рехим-хан ни словом не обмолвился об учреждении британского агентства в Сунмиани, хотя всем было известно, что такая мера предполагалась, и, полагаю, именно знание об этом подсказало мысль о намеченной примирительной миссии в Бомбей. При расставании Рехим-хан сказал, что, раз я посетил его, ему следует в ответ посетить меня, и на следующее утро Каликдад пришёл узнать, готов ли я его принять. Я отвечал, что всегда буду рад его видеть, но не желаю причинять ему труд приходить ко мне лишь ради соблюдения этикета. Тем не менее Рехим-хан настаивал, что обязан ответить любезностью, и я удостоился его общества. Теперь мы разговаривали так свободно, словно были друзьями многие годы.

Составление писем в Карачи было поручено дивану Тирату. Он спросил, что ему писать. Я ответил: что ему угодно. Тогда он поинтересовался, следует ли писать у меня дома, а я велел ему составить письма у себя и принести мне по окончании. Днём он принёс четыре письма, адресованные капитанам Аутраму и Уоллесу соответственно от джама и Рехим-хана. Метлаф, или смысл, всех писем состоял в том, что они желают числиться среди рабов британского правительства. Я вложил их в приготовленное для капитана Уоллеса письмо и отправил в тот же вечер.

Я так и не решился спросить кого-либо в Сунмиани, преследовал ли Рехим-хан капитана Аутрама, как рассказывали торговцы лошадьми, хотя предполагал, что нет, поскольку кто-нибудь, вероятно, упомянул бы об этом. Однако впоследствии, в Беле, а затем и в Келате, я убедился не только в том, что ничего подобного не происходило, но и в том, что Рехим-хан прибыл в Сунмиани лишь через тридцать пять дней после отъезда оттуда капитана Аутрама, сопровождая джама в одной из его обычных поездок. Более того, Рехим-хан находился в Валипате, немного севернее Белы, когда капитан Аутрам проезжал там, стоял вместе с другими у дороги во время его проезда, знал о смерти своего отца, понимал, что капитан Аутрам — европеец, и не проявил никакого дальнейшего интереса. Поэтому я был весьма рад, что переслал его письма: даже если бы они не принесли ничего лучшего, вызванное торговцами лошадьми неблагоприятное впечатление, быть может, удалось бы устранить, и меня радовала возможность по-прежнему хорошо думать о нём, не считая его преследователем английского офицера.

Я оставил в Сунмиани слуг и багаж, которым надлежало следовать с Каликдадом и караваном, а купец предоставил мне на время путешествия молодого парня по имени Хасан для ухода за лошадей. Несколько перемен белья я уложил в седельные сумки, которые пирзада взял на своих верблюдов.

После заката я присоединился к святому человеку за городом, и мы отправились в путь под благословения толпы купцов и горожан. У моего спутника было три верблюда: на одном ехал он сам, на другом — чернокожая невольница с изящным именем Зафрани, то есть госпожа шафранового цвета, а третий был нагружен дарами, собранными с учеников и паствы. Его сопровождали два юноши из Кабула, шедшие пешком, как и Хасан.

Мы шли всю ночь по ровной равнине, миновав песчаную полосу, называемую Рег-Тиллахи (золотой песок), а на рассвете оказались у края поросшего деревьями пояса, среди которого расположена деревня Лиари. За время этого перехода я, разумеется, немного поговорил со своим новым спутником, пирзадой. Я не потрудился увидеться с ним в Сунмиани, принимая как данное, что это вполне почтенный человек, и зная, что он сын Зея аль-Хака Ниджрохи

из секты Накшбанди-Сиринди, жившего в Кабуле и известного мне понаслышке. Однако легкомысленные речи моего спутника в пути не внушили мне высокого о нём мнения, а когда дневной свет открыл его черты, я усомнился, стал ли бы искать его общества, увидев прежде это лицо.

В Лиари для пирзады отвели дом на базаре, а мне предоставили другой, в уединённой части деревни.

Вечером мы направились к Пати, но, хотя у нас были проводники, сбились с дороги и, проблуждав всю ночь, к утру очутились едва за лесным поясом Лиари; не желая подвергаться горячим ветрам, которые теперь свирепствовали, мы решили провести день возле нескольких видневшихся неподалёку хижин племени гунга. Нас любезно приняли, и стоило стать известно, что прибыла группа пирзады, как женщины поспешили выразить ему своё почтение. Среди них была одна особенно красивая, и, прежде чем мой спутник успел объяснить, что я ференги и не имею права на столь великое уважение, она, вообразив, что я непременно должен быть пирзадой, почтила меня тем, что приложила руки к моим ступням, а затем поцеловала мои руки. Её сопровождала мать, тоже приятная наружностью, и пирзада вскоре договорился поселиться у них. Для меня специально возвели хижину, причём так быстро, что через пять минут она уже была готова.

У пирзады было много занятий по его профессии. Первым просителем оказался калека, которому он предписал большую чашу воды, над которой подышал, велел затем выпить её залпом. Бедный гунга повиновался с величайшей верой, но не без труда, поскольку количество воды было чрезмерным, а пирзада, наслаждавшийся его мучениями, настаивал, чтобы он проглотил всё до последней капли. Вскоре приготовили и подали нам хороший обед — несомненно, вознаграждение за заклинания и противоядия моего друга, хотя он и желал убедить меня, что платит за всё.

В течение дня я навестил его и обнаружил, что предметом обсуждения стал наш вечерний ужин. Благочестивому человеку приглянулся козлёнок, и он всячески старался, по крайней мере в моём присутствии, обещая заплатить за него, дать понять, что не потерпит отказа. Его красивые хозяйки доставили утром кур, но козлёнок, к несчастью, принадлежал другим людям, которые были слишком бедны, чтобы подарить своё животное, и в то же время стеснялись принимать деньги от пирзады. В затруднительном положении мать попросила тавиз, или амулет, для своей хорошенькой дочери, которая стыдливо опустила голову, когда было рассказано, что она уже пять или шесть лет замужем, но всё ещё не имеет никакого аулада, или потомства. Один из кабульских парней святого человека тотчас насторожился и, наклонившись к своему господину, сказал: «Верблюд, верблюд в качестве шукрани», то есть приношения. Мать стала вдаваться в подробности, желая вызвать сострадание, и заметила, что у её дочери всего один муж, что побудило пирзаду спросить, сколько же ей нужно. Поняв, что из этого случая можно извлечь какую-то выгоду, добрый человек отпустил меня, или, что сводилось к тому же, дал понять, что желает вновь приступить к молитвам. Не прошло и нескольких минут после моего ухода, как я увидел, что двое его парней вместе с несколькими гунга несут козлёнка на убой, и не требовалось особой проницательности, чтобы догадаться, что животное было отдано в уплату за обещание материнства красивой, но бесплодной молодой жене. Место называлось Обади, а отвратительную на вкус, скверную воду здесь доставали из колодца.

После заката мы двинулись к Пати и на следующее утро достигли так называемого необитаемого места на берегу одного из рукавов реки Пурали. День мы провели здесь, но тамариски, окаймлявшие берега, плохо защищали нас от жары.

Продвигаясь к Беле, незадолго до захода солнца мы оказались окутаны хакбадом, или пыльным вихрем. Мы некоторое время видели его впереди и сами вошли в него, хотя, оставшись мы при первом его появлении, вполне могли бы избежать встречи. Ветер был чрезвычайно силён, а пыль нестерпима, хотя мы находились далеко от центра вихря, который быстро

прошёл мимо. Упало несколько крупных дождевых капель, и яркие вспышки молний осветили плотную массу пыли. Пройдя всю ночь, утром мы достигли маленькой деревни Осман-ди-Гот и, поскольку до Белы оставалось совсем немного, договорились продолжать путь до неё.

Когда мы достигли старого русла Пурали, на дальнем берегу которого стоит город, пирзада выразил опасения относительно Мир Азем-хана, брата покойного Мехраб-хана из Келата, который, как нам было известно, жил там, и пожелал, чтобы я остался под береговым откосом, пока он не сходит в город и не удостоверится, что всё благополучно. Я не видел необходимости в такой осторожности и, подшучивая над ним, что, если он боится в Беле, каково же ему будет среди гор, немедленно переправился к мечети у самой окраины города и отправил Хасана с посланием к Омару, сыну покойного арабского вакиля, которого я знал.

Вскоре пришёл Омар в сопровождении Ибрагима, сына вакиля Алла-Рикки, и они отвели меня в дом, принадлежавший первому. Приказ джама оказывать мне всевозможное внимание пришёл ещё до моего прибытия. Пирзаду разместили отдельно. Я рассчитывал на задержку в Беле на день или два, но вскоре обнаружил, что мой спутник опасается, как бы моё присутствие не поставило его в затруднительное положение среди горных племён. Как-то поздно вечером он прислал за мной, но я уже лёг спать и не пошёл к нему. Не пошёл я и утром, когда услышал, что у него есть для меня какие-то новости из Кабула, которые, как я вполне мог предположить, были сущей чепухой. Это побудило его прислать Муллу Хашема, уроженца Келата, вместе с человеком, который то ли действительно был, то ли выдавал себя за посланца из Нала. Этот человек уверял, что перед его отъездом из Нала туда прибыл Шах-Наваз-хан и для него готовили угощение, когда из Келата примчался гонец с известиями, заставившими хана вновь сесть на коня и отправиться к своей столице, не дожидаясь приготовленной трапезы. Весть состояла в том, что лейтенант Лавдей и Фати-хан были разбиты в Нушки зиггер-мингалами при поддержке мемасени и пошт-кохи и, потеряв сто человек, бежали в Келат.

Я сразу понял, что эта история была уловкой, пущенной в ход, чтобы запугать купцов и заставить их платить пошлины, взимание которых запрещалось письмами Шах-Наваз-хана, а также нанимать бадрагаров, или охранников для безопасного проезда; однако, поскольку пирзада поручил Мулле Хашему сообщить мне, что сам он уезжает этой ночью и не опасается за себя, но тревожится за меня и будет доволен, если я освобожу его от обязательства сопровождать меня до Келата, я тотчас ответил, что он свободен от этого обязательства, ибо мне было бы жаль, если бы кто-нибудь даже подумал, что из-за меня подвергается опасности. Я послал Хасана за своими седельными сумками, но добрый человек удержал их и прислал сказать, что лучше подождать день или два, пока не поступят более достоверные сведения. На следующее утро он вновь прислал просьбу зайти к нему. Я пришёл и застал с ним Ибрагима, сына Алла-Рикки. Оба убеждали меня немного подождать; однако Ибрагим, выражая горячее желание быть полезным, употребил несколько выражений, на которые, будь я так настроен, мог бы с полным основанием обидеться. Пирзада был чрезвычайно любезен, и мы расстались на том, что подождём день или два. Теперь он был, по существу, всего лишь бедным факиром, а Ибрагим не преминул сообщить мне, что, если кто-нибудь наложит на меня руки во время путешествия, пирзада сможет лишь смотреть, но не вмешается, чтобы воспрепятствовать этому. Едва я вернулся в своё жилище, как Хасан пришёл с сообщением от пирзады, что тот выступает вечером. Я отказался и послал за седельными сумками, которые вновь удержали, после чего уже сам рассердился и отправил за ними хаджи Хадара, джукийского мирзу, или писца, на службе джама, и сумки мне доставили. Позже пришёл келатский купец, выразивший сожаление пирзады о том, что я потребовал сумки, передавший, как тот был бы счастлив путешествовать вместе со мной, и попросивший реза-наме, или одобрительное письмо, которое, по моим словам, было совершенно не нужно, поскольку я не сердился. Однако на этом настаивали, и хаджи Хадар написал несколько слов, чтобы удовлетворить его.

Пирзада уехал в тот же вечер, а мне предстояло обдумать дальнейший образ действий; я не видел ничего лучшего, чем дожидаться прибытия Каликдада с караваном, хотя жить в Беле при господстве горячих ветров было нежелательно. Возможно, я сумел бы добраться до Келата с помощью денег, но почти все свои средства оставил вместе с прочими вещами в Сунмиани.

Перед моим отъездом из Карачи капитан Уоллес упоминал, что получил письмо от хаджи Хадара Динны относительно Адам-хана, или Мир Азем-хана, как его называли официально, единственного брата Мехраб-хана, проживавшего тогда в Беле, и спросил, знаю ли я хаджи; я ответил, что нет. Оказалось, однако, что это тот самый хаджи Хадар, которого мне уже случалось упоминать, глухой джукийский мирза, мой старый знакомый, прежде известный мне под простым именем Хадар,* которого я не узнал под удлинённым именем и титулом хаджи, вполне, впрочем, заслуженным им тремя паломничествами в Мекку. Он принёс мне ответ капитана Уоллеса. Казалось, Мир Азем сомневался в подлинности письма. В этом отношении сомнений не было, и мне дали понять, что Мир Азем очень обрадовался, узнав, что я подтвердил его подлинность. В письме миру рекомендовалось обратиться к капитану Бину в Кветте, а если он возражает или испытывает непреодолимые сомнения, приехать в Карачи, откуда по его делу будут сделаны представления правительству. В то время я отказывался посетить Мир Азема, зная, что он нуждается даже в самом необходимом, а у меня не было возможности его этим обеспечить; тем не менее я убеждал хаджи Хадара склонить его последовать совету капитана Уоллеса, отправиться в Карачи и положить конец своему бедственному положению.

* См. том II, с. 18, *«Путешествия и пребывание в Белуджистане, Афганистане и Пенджабе»*.

Надёжные известия из Келата опровергли рассказы о бедствиях, распространявшиеся заинтересованными лицами; мы узнали, что лейтенант Лавдей рассеял мингалов в Нушки, а Шах-Наваз-хан находится в Багване, празднуя свадьбу с сестрой Камал-хана, одной из вдов покойного джама Али из Белы. Тем не менее стали распространяться новые слухи о прибытии шаха Шуджи аль-Мулька в Шикарпур в качестве беглеца из Кабула и о том, что Синд поднял оружие. Всё это имело целью сбить с толку несчастных купцов. Днём горячие ветры дули постоянно, но, хотя я был совершенно им открыт, они не причиняли мне неудобств. Однако мне требовалось всё моё терпение, чтобы переносить задержку путешествия, вызванную обстоятельствами.

Я неохотно задерживался в Беле, когда однажды утром пришёл незнакомец и спросил, не Массон ли я, сахиб, а затем сообщил, что привёз мне письма от лейтенанта Лавдея. Я удивился, но поскольку этот человек столь легко произносил моё имя, попросил показать письма. За ними послали сопровождавшего его мингала. Незнакомец был чрезвычайно разговорчив и вскоре сообщил мне, что зовут его Амир-хан, что он служит у лейтенанта Лавдея, что в дороге из Келата его деньги закончились и что он рассчитывает на меня для пополнения средств, — ожидание неудачное, поскольку у меня не было денег больше, чем требовалось мне самому. Он настаивал, что лейтенант Лавдей отправил его именно ко мне и сказал ему при расставании: «Амир-хан, как же я обрадуюсь, когда приедет Массон-сахиб! Скажи ему, что климат здесь восхитителен!» И ещё он рассказывал, что, когда мистер Лавдей гулял по своему саду в Мастунге, срывая цветы, он восклицал: «Ах, Амир-хан, какой толк в цветах и их благоухании, если Массона-сахиба нет здесь, чтобы наслаждаться ими вместе со мной!» Всё это показалось мне в высшей степени странным; тем временем мингал вернулся с седельными сумками Амир-хана, письма были вынуты, и — о чудо! — они оказались адресованы «лейтенанту Гордону, британскому агенту в Сунмиани»!

Власти приняли Амир-хана и его спутников как гостей. Вскоре он отправился в Сунмиани, а мингал, сопровождавший его из Вада, предложил оказать мне такую же услугу до этого места. Он был человек достойный, и добрые жители Белы признавали это, поэтому я обрадовался его предложению и приготовился выступить с ним. За дорогу он потребовал всего

две с половиной рупии и повёз мои седельные сумки на своём верблюде, хорошо выученном животном. Я неизменно отказывался видиться с Мир Азем-ханом, братом бедного Мехраб-хана! Теперь, когда я собирался уезжать, многие люди так настойчиво просили меня навестить его, что пришлось уступить, особенно потому, что они уверяли, будто он обрадуется, сам выразит желание меня увидеть и говорил, что помнит меня по Келату. Поэтому я велел не спеша вести мою лошадь по дороге, а сам пешком отправился к дому джама, где жил Мир Азем. Я застал его в самом жалком состоянии, и, когда мы обменялись приветствиями, он удалил пять или шесть слуг, всё ещё остававшихся при нём, и спросил меня о поездке в Карачи: не рискует ли он оказаться там заключённым в тюрьму или быть преданным смерти. Я заверил его, что, напротив, там его примут любезно, и настойчиво посоветовал отправляться, пояснив, что промедление в его обстоятельствах будет губительным. Он заговорил о щедрости Сиркар Компани Сахиб, и я сказал, что эта власть справедливо пользуется такой славой и он может рассчитывать на её великодушие. Он упомянул пришедший ему в голову план поехать в Харан, забрать своего племянника, малолетнего сына Мехраб-хана, в Маскат и попросить заступничества имама, большого друга британского правительства. Я объяснил, что имам, конечно, большой друг, но личный приезд самого Мира в Карачи достиг бы всех целей и, несомненно, приём оказался бы таким, что вскоре и его племянник с радостью присоединился бы к нему. Он спросил, не лучше ли ему, вместо того чтобы самому ехать прямо в Карачи, сперва отправить вакиля, и я отвечал, что время посылать вакилей прошло; он признал справедливость моих слов и, ободрённый услышанным, обещал ехать, как только джам вернётся в Белу. Он заметил, что находится в крайнем бедствии. Я сказал, что это слишком очевидно, и заклинал его именем Бога узнать, что правительство сможет для него сделать. Он добавил, что прежде уже видел меня в Келате; но я объяснил ему, что память его обманывает, поскольку, когда я был там, он приехал из Гандавы в Сохраб, а оттуда отправился в Кедж, так что встретиться нам не довелось. Мне казалось, что я сумел избавить Мир Азем-хана от представления, будто он неизбежно должен стать жертвой лишь потому, что его брату Мехрабу выпало несчастье погибнуть и что в Карачи с ним могут поступить несправедливо, и я оставил его, по-видимому, ободрённым и решившим вскоре посетить капитана Уоллеса.

Позже я услышал, что, когда Каликдад со своим караваном достиг Белы, мир обнял его, сказав, что знает, кому обязан моим посещением. Он намеревался поехать в Карачи, но жаловался, что у него нет подходящей для путешествия одежды. Каликдад, язык у которого слишком быстр, а понимание государственных дел весьма ограничено, посоветовал ему послать вакиля, и это вызвало задержку. В Келате вспыхнуло восстание, и когда его племянник вернул себе столицу, мир, разумеется, присоединился к нему.

В то время Мир Азем дошёл до такой нужды, что ежедневно получал от джама пособие в два фунта риса, мясо на восемь пайсов (приблизительно три пенса), немного масла и прочее; его спутникам, восьми или десяти невольникам, также выдавали приготовленные лепёшки из джуари и рисовой муки. У него не было даже смены белья, поскольку Иса-хан из Вада ограбил его, когда тот проходил через это место во время бегства из Келата. С ним находилась его жена, и свободное время он коротал, читая ей персидские стихи, ибо, хотя распущенность сделала его почти непригодным для дел, он весьма образован и считается человеком больших дарований. В Беле одна из вдов покойного Мехраб-хана также жила на подаяния джама.

Прежде чем покинуть маленькое государство Лас, позвольте мне вкратце вернуться к смятению и неопределённости, которые тогда расстраивали весь его уклад. Описать их во всей полноте было бы выше моих сил, но некоторые черты, возможно, станут понятны из изложенных мною обстоятельств.

Опасения властей были беспочвенны: английское правительство не имело ни желания завладеть страной, ни намерения передать её Синду, ни стремления вмешиваться во внутренние порядки. Однако рядом не было ни одного уполномоченного лица, которое знало бы о

царившей панике и могло бы рассеять её, а попытки джама и его советников установить связь с господами в Карачи до сих пор оставались тщетными. Полковник, ныне сэр Генри Поттингджер, как я полагаю, справедливо оценивал дружественные чувства правителя Ласа; впоследствии я узнал от лейтенанта Лавдея, что он предлагал осуществлять сношения между Ласом и британским правительством через резидента в Синде, — предложение столь очевидно разумное, что противиться ему можно было лишь ради самого противодействия. Последствием стало то, что Лас оказался совершенно заброшен, а политические чиновники в Келате и Кветте даже считали его враждебным, тогда как он стремился посредством самого униженного подчинения обеспечить своё существование.

Я всегда опасался, что присутствие войск в Сунмиани, будучи совершенно ненужным, приведёт к дурным последствиям; потому впоследствии с радостью узнал, что лейтенант Гордон вскоре после прибытия, согласно своему назначению, отправил их обратно; это обстоятельство внушило мне благоприятное мнение о его рассудительности и позволило надеяться, что молодой джам и его подданные не пожалеют о его назначении. С тех пор в бомбейских газетах было объявлено о договоре, определяющем размер пошлин, взимаемых в порту Сунмиани; в одном отношении он был излишен, поскольку установленные ставки всего лишь совпадали с теми, что взимались прежде без всякого договора; однако если сочли нужным узаконить их таким образом и тем самым было достигнуто согласие, большого вреда здесь нет, а польза может оказаться, поскольку признано право джама заключать договоры. Теперь я с удовлетворением узнал, что агентство упразднено по распоряжению нынешнего генерал-губернатора Индии.

ГЛАВА II.

Уалипат. — Вступление в горы. — Старый знакомый. — Путь к Миран-Куштеху. — Путь к Баран-Лаку. — Туркабур. — Кала-Дара. — Обзор пути. — День в Кала-Даре. — Приближение к Ваду. — Приём в Ваде. — Прибытие мира Рахмата. — Его развлечения. — Афганский хаджи. — Легкомыслие мира Рахмата. — Чернокожие рабы. — Мнения, высказываемые в Ваде. — Возвращение Шир-Махомеда. — Отъезд из Вада. — Сад Иса-хана. — Путь в Багвану. — Встреча с ханом Махомед-ханом. — Свинцовые рудники Каппара. — Гохар-Баста. — Прибытие в Багвану. — Любезности шаха Наваз-хана. — Свидание с ним. — Мир Атта-хан. — Путь в Калат. — Зохвар. — Лакориан. — Гохар-Баста. — Анджира. — Любезный приём в Шорабе. — Путь в Родинджо. — Приём там. — Прибытие в Калат. — Приветствия друзей. — Замечание лейтенанта Лавдея. — Репутация лейтенанта Лавдея. — Свидание с лейтенантом Лавдеем. — Разговор. — Второе свидание. — Разговор с мунши Гулам-Хусейном. — Выбор жилища. — Нежелание вновь посетить лейтенанта Лавдея.

Из Белы мы прошли через джунгли из деревьев перу, окружающие её с севера, затем, обогнув стороной деревушку Хайра, к ночи достигли Уалипата, где остановились в пальмовой роще, в которой содержался конский завод джама. Там находилось около тридцати кобыл и жеребят. Заведовавший ими дарога снабдил нас зерном и мякиной, приготовил нам пищу и всячески старался проявить любезность.

Перед рассветом следующего утра мы уже пересекали голую, усеянную галькой равнину, простиравшуюся от Уалипата до гор, а до восхода солнца достигли реки Пурали, которую переходили шесть раз, и добрались до входа в ущелье Кохарн-Ват, где расположились на дневной привал, оставив позади реку, текущую с северо-востока. Здесь к нам присоединились двое путников, шедших из Калата; один из них, Гулам, торговец из Баби, тотчас узнал меня и, после того как мы обнялись, сел, подкрепился и сообщил новости дня. По его словам, он ехал по делам лейтенанта Лавдея и рассказал, что меня ожидают в Калате, поскольку лейтенант Лавдей сказал моим друзьям, что я скоро туда прибуду.

Вечером мы вступили в ущелье, которое показалось мне не столь грозным, каким рисовала его память; и хотя в нынешнем состоянии через него едва ли могла бы пройти артиллерия, хорошую дорогу здесь было бы нетрудно проложить, поскольку горная порода мягкая, сланцевая и легко раскалывается. К тому же протяжённость ущелья невелика. Выйдя из него, мы оказались на дикой, изрезанной равнине Бохер и пересекли её по направлению к горной цепи, ограничивающей равнину с севера. Мы проникли в эти горы долиной, или руслом потока, Пинг, название которого на языке брагуи означает «длинный» и вполне соответствует протяжённости долины. Вследствие продолжительной засухи меня ещё в Беле предупреждали, что я не увижу гор такими, какими видел их прежде, покрытыми зеленью, а долин — украшенными обильными прозрачными ручьями; поэтому я не удивился, обнаружив, что ручей покинул Пинг и что от пышной растительности, некогда украшавшей долину, осталось немного следов. Небольшой подъём, или перевал, в верхней части долины вывел нас на плоскогорье Селлох, с которого мы спустились в русло водотока, называемое Миран-Куштех по имени Мирана, разбойника из брагуи, когда-то убитого здесь. Мы шли всю ночь и, найдя в этом месте воду, остановились на день. Неподалёку находилось несколько хижин брагуи; нас посетили пастухи, у которых мы купили ягнёнка.

Вечером мы двинулись вдоль долины и, преодолев трудный подъём Лохи, прошли необычным длинным ущельем, называемым Анравери. С обеих сторон его ограничивали почти отвесные скальные стены, справа высотой в сорок или пятьдесят футов, слева — примерно в двадцать. Ширина ущелья колебалась от десяти до двадцати футов, и узкий проход кое-где был сильно зарос ирисами и высокой травой. Во всех здешних горах от природы много крепких и удобных для обороны мест, и это ущелье, по-видимому, можно было бы превратить в чрезвычайно грозную позицию. Однако дикие племена страны, хотя, возможно, и не совсем не сознают оборонительных преимуществ, которые оно предоставляет, слишком невежественны, чтобы воспользоваться ими, и, насколько известно, никогда не делали этого в своих мелких войнах. Из Анравери мы с трудом поднялись на каменистый перевал Каррарох, с вершины которого открылся обширный, но унылый вид на далёкие горные цепи и окружавшие нас глубокие тёмные ущелья, и наконец остановились у подножия Баран-Лака («голового перевала»). На этом переходе дороги часто доставляли нам затруднения; однако небольшого труда было бы достаточно, чтобы привести их в порядок.

Мы снова шли всю ночь и, сойдя с дороги, расположились на берегу большого горного потока, в каменистом русле которого обнаружили воду в углублении. У многих разбросанных по поверхности камешков одна сторона была покрыта налётом мела, как мягкого, так и затвердевшего, а вокруг встречались также небольшие кусочки этого минерала, редкого в здешних странах. На расположенном впереди перевале я впоследствии нашёл довольно много образцов цеолитов, но они значительно уступали прекрасным массам, которые можно увидеть на столовых горах Мальвы в Центральной Индии. Окаменелые остатки двустворчатых моллюсков, аммонитов, а также, как мне казалось, челюстных костей и зубов рыб встречались в каждом камне или обломке камня вокруг нас. Вечером мы возобновили путь и начали подниматься на лак. К своему удивлению и, могу сказать, почти разочарованию, я обнаружил, что он далеко не так труден, как заставляли меня ожидать воспоминания о двух прежних переходах. Он был не слишком длинным и не особенно крутым, а дорога, хотя и узкая, была даже сносной; но вблизи вершины имеется канд, или прорубленный в скале проход, который пришлось бы расширить, прежде чем через него смогли бы проезжать колёсные повозки. Скала податлива и вполне пригодна для такой работы. С перевала мы спустились в уединённую лощину, чтобы дать верблюду моего проводника пощипать листву с нескольких деревьев, росших на её склонах, а ночью снова тронулись в путь. По дороге мы пересекли сухое русло довольно значительного горного потока, которое я хорошо помнил как место, неподалёку от которого провёл день в 1831 году, когда нас застиг сильный ливень; затем через небольшой перевал мы вышли на равнину Тур-

кабур, названную так, по преданию, потому, что там стоял лагерем эмир Тимур или, по словам других, Чингисхан. На наречии брагуи это название означает всадника. Оттуда мы вступили на прекрасную, ровную и просторную равнину Кала-Дара («чёрная долина») и, пройдя большую её часть, свернули с дороги к нескольким хижинам мингалов, где остановились под прикрытием деревьев перпук. Мы не собирались тревожить обитателей, но лай их собственных собак разбудил их, и старик поднялся узнать, кто явился к нему в гости. Получив ответ, он успокоился и вернулся в свою хижину, пообещав утром снабдить нас всем необходимым.

Перейдя перевал Туркабур, мы оставили горную страну позади, и с этого времени наш путь до Калата сделался сравнительно лёгким и безопасным. В горах мы встречали очень мало людей, и только на местах привалов. Шир-Махомед, в действия которого я никогда не вмешивался, неизменно сообщал им, что я ференги, направляющийся в Калат по собственным делам; и это известие, передаваемое с полным равнодушием, принималось столь же равнодушно. Перевал Баран-Лак служит пределом, до которого в суровые зимы, как известно, доходят снегопады; однако в большинство лет снег редко распространяется до Хоздара и Багваны. Я осматривал дорогу внимательнее, чем прежде, поскольку в Карачи желали знать её точное состояние в связи с возможным движением войск, причём высказывалась мысль, что, если она вообще проходима, было бы весьма полезно открыть её, так как путь через Синд и Качи не только гораздо длиннее, но в некоторые времена года совершенно закрывается вследствие ужасных климатических условий. Из сделанных мною по разным случаям замечаний можно заключить, что я считал дорогу в принципе проходимой, в чём, собственно, и не следовало сомневаться, поскольку по ней постоянно проходят большие караваны; однако караваны могут пройти там, где погибнут армии со всеми своими обозами, и при движении последних необходимо принимать во внимание многое, без чего караваны вполне обходятся. От Белы до Вада невозможно достать никаких запасов зерна, а от Вада до Калата рассчитывать на них можно лишь в очень малой степени. В горах и наличие воды, и количество корма ненадёжны и зависят от дождей. Во время этого путешествия моя лошадь страдала от недостатка корма; то же случилось с верблюдом моего спутника; а следовавший за нами караван оказался выведен из строя, потеряв по той же причине две трети вьючных животных.

На первом нашем привале у Кохарн-Вата, при входе в горы, мы брали воду из реки Пурали. В Миран-Куштехе и Баран-Лаке, где мы останавливались среди гор, воды было мало, и это были единственные два места на всём пути, где она встретила. В прежних путешествиях я пересекал многочисленные ручьи и реку Орнач, глубокий и сильный поток, — теперь они перестали течь, и я, должно быть, перешёл сухое русло реки, даже не заметив его. Поэтому в нынешнее время я считал движение большого войскового отряда опасным предприятием; но и в любое другое время следовало бы предварительно выяснить состояние гор в отношении воды и корма. Серьёзного сопротивления со стороны племён, возможно, опасаться не приходится, однако необходимо было бы принять меры против их мелких краж. Засуха, угнетающая эту страну последние десять лет, по-видимому, охватила обширное пространство, и я заметил, что подобное бедствие постигло некоторые русские губернии, где для изучения его последствий и вероятных причин была назначена комиссия. Впоследствии, полагаю, британские офицеры исследовали этот путь, но о результатах я не узнал.

Утром старый господин, оказавшийся зависимым человеком Иса-хана из Вада, сдержал слово и вскоре подал нам завтрак, а мы купили овцу, чтобы отплатить ему за любезность, а также потому, что собирались дать отдохнуть нашим животным, плохо питавшимся со времени отъезда из Белы. Поблизости стояло несколько хижин, и многие из их обитателей пришли почтить нас своим обществом. Между ними возник спор о том, дозволено ли убить меня в отместку за кровь погибших в Калате; но большинство признало это недозволенным, поскольку меня не было при их гибели и поскольку я явился к ним безоружным. Те, кто отстаивал противоположное мнение, по-видимому, делали это лишь ради спора.

Мы провели здесь не только день, но и большую часть следующей ночи, после чего продолжили путь в Вад. Рассвело прежде, чем мы миновали невысокие холмы, отделяющие равнину от главного селения племени мингалов. По дороге Шир-Махомед заметил мне, что, поскольку хан Махомед-хан, старший сын Иса-хана, отсутствует, о чём мы узнали в Кала-Даре, он не вполне уверен, смогу ли я чувствовать себя там спокойно, учитывая нравы младших членов его семьи, и предложил, если я согласен, отправиться прямо к его жилищу в трёх или четырёх милях отсюда, где меня, по крайней мере, встретят любезно, хотя угощение и будет скромным. Я был признателен ему за заботу, побудившую сделать такое предложение, но решил испытать судьбу в Ваде. Солнце ещё не взошло, когда мы спустились на равнину и увидели перед собой небольшой городок; первыми предметами, представшими нашему взору, были три новые гробницы, покрытые белой штукатуркой, воздвигнутые над останками Вали-Махомеда, Тадж-Махомеда и ещё одного из вадских вождей, павших одновременно со своим несчастным повелителем Мехраб-ханом. Они были похоронены на открытой равнине, под тутовым деревом, рядом друг с другом. Смерть соединила их, и теперь соотечественники чтят их как шахидов, или мучеников.

Признаюсь, что я приближался к городку с невесёлыми чувствами; я сознавал, что причин для опасений нет, но всё же предстояла неловкая встреча с родственниками убитых, а хуже всего было то, что я знал: бедствие, погубившее стольких вождей этого рода, можно было бы предотвратить при должном взаимопонимании. Перейдя сухое русло потока, на котором стоит Вад, мы подошли к домам ныне живущих вождей; первым встреченным нами человеком оказался дарога Иса-хана, проводивший нас в пустовавший дом мира Рахмата, сына Тадж-Махомеда, упомянутого выше в числе павших в Калате. Мир Рахмат находился вместе с ханом Махомед-ханом при шахе Наваз-хане, новом правителе Калата, в Зиди. Дарога поспешил известить семью Иса-хана о нашем прибытии, предоставив мне размышлять о странной случайности, поселившей меня в доме вождя, павшего от рук моих соотечественников.

Вскоре Малек-Динар, младший сын Иса-хана, юноша шестнадцати или семнадцати лет, принёс любезное приветствие от своей матери; вслед за ним явились рабы с ложем, коврами и покрывалами, вышитыми золотом. Едва всё это было разложено, как принесли также превосходное угощение. Вскоре после этого Шир-Махомед отправился домой, обещав вернуться на закате послезавтрашнего дня, поскольку намеревался проводить меня в Багвану за дополнительную плату в три рупии.

Я скоро обнаружил, что Малек-Динар был любимцем матери, и в течение дня он большей частью находился со мной. Он казался благовоспитанным, и потому я был рад его обществу; вечером объявили о прибытии мира Рахмата, и шум, сопровождавший его появление, свидетельствовал, что это важная особа. Он вернулся из Зиди, где оставил хана Махомеда. Ему было около двадцати пяти лет, и он отличался чрезвычайным легкомыслием и грубостью манер. Он уверял, что очень рад мне, но выражал своё удовольствие самым докучливым образом, не давая мне ни минуты покоя.

На следующее утро вследствие семейной ссоры мир Хассан, его шурин, покинул Вад со своими жёнами, детьми и приближёнными, намереваясь поселиться во владениях Рехим-хана. Когда об этом стало известно, Малек-Динар сел на верблюда и погнался за беглецами, надеясь убедить женщин вернуться; мир Рахмат попросил у меня лошадь, чтобы последовать за миром Хассаном с той же целью. Полагая дело неотложным, я уступил ему. Оказалось, что обиженного мира уговорить невозможно; и оба вернулись ни с чем.

В этот день мир Рахмат не позволил мне сколько-нибудь отдохнуть; и по мере того как он осваивался со мной, легкомыслие его поведения делалось всё заметнее и досаднее. Разговор его был до крайности пустым; вынужденный его терпеть, я утешался мыслью, что получаю возможность узнать, каково общество в Ваде; и в самом деле, ухищрения и способы, к которым он прибегал, чтобы убить время, нередко бывали забавны. Иногда певец, неизмен-

ный член домашнего окружения сирдара брагуи, одетый в поношенные платья своих господ, принимался играть на сехтаре, трёхструнной лире, и сопровождал мелодию пением; затем мир Рахмат, который, подобно Нерону, гордился своими вокальными дарованиями, услаждал нас собственными напевами. Иногда он растягивался на ложе, пока рабыня разминала ему тело; выражения, с которыми он к ней обращался, не отличались ни изяществом, ни особой пристойностью. Но главным его прибежищем были азартные игры; в них он играл, развалившись на земле, с Малек-Динаром или с разряженным, но оборванным певцом.

К развлечениям мира Рахмата прибавилось прибытие афганского хаджи, которого я видел в Беле вместе с моим малодушным другом, пирзадой. Этот человек отправился из Калата в хадж, или паломничество, в Мекку; но, как случается со многими его земляками, хадж его завершился в Бомбее. Оставшись без средств, он поселился там в правительственной больнице, разумеется притворяясь больным. Обратившись к пирзаде за помощью, чтобы вернуться в Калат, он рассказал ему об этом обстоятельстве и подробно описал обильную пищу и большое внимание, которыми пользовался в больнице; пирзада спросил, почему же он там не остался. Хаджи ответил, что остался бы, но хаким-сахиб (доктор) выгнал его. Пирзада согласился кормить его по дороге в Калат; взамен хаджи должен был приносить пользу. Теперь хаджи прибыл чрезвычайно обиженный на пирзаду, обвиняя того в жестокости за то, что он не позволял ему ехать верхом и бросил его в горах, и клялся разоблачить его, добравшись до Калата. Хаджи просил мира Рахмата не судить о нём по скромной одежде, которую он теперь носит, ибо у себя дома, в Кандагаре, он был важным человеком. Обратившись ко мне, он попросил одолжить ему рупию, которую обещал вернуть в Калате; в тот момент я ничего не ответил. Хаджи всё ещё сидел, перебирая пальцами крупные чёрные деревянные бусины своих чёток, когда мир Рахмат подвергся растиранию; а непристойные замечания, которые он делал темнокожей исполнительнице этой работы, привели афганца в такое изумление, что он не смог удержаться и спросил: «Ханзада, у вас есть жена?» Вопрос, хотя и заданный внезапно, был весьма уместен; и мир Рахмат устался на него, несколько растерявшись; но вскоре оправился и ответил: «Да, хаджи Гул». А затем с находчивой дерзостью сказал: «Хаджи Гул, ты останешься со мной и будешь учить меня молитвам». Хаджи ответил, что с удовольствием научит его молитвам, но — тут он покачал головой — опасается, что ханзада вряд ли окажется способным учеником. Моя табакерка опустела, а базар Вада не мог пополнить её содержимое. Хаджи счёл прискорбным, что мне недостаёт того, чем он может снабдить меня, и, взяв табакерку, пересыпал в неё содержимое собственного кожаного мешочка. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ему, что он заставил меня устыдиться самого себя: он просил у меня денег, а я ему не дал, тогда как он дал мне нюхательного табаку, хотя я о нём не просил. Поэтому я попросил его принять рупию, чтобы купить себе ещё табаку.

Я оставил хаджи в Ваде дожидаться каравана и развлекать тамошнее общество, что он, по-видимому, и делал, если верить его собственным рассказам. Через несколько дней после моего прибытия в Калат хаджи явился ко мне в своей лучшей одежде, поверх которой был накинут старый ситцевый фаргал. Когда я спросил, как жилось ему после моего отъезда у мира Рахмата, среди целого сонма рабынь, чёрных и белых, он воскликнул: «Рама! рама! Целое стадо! Целое стадо!»; но самое лучшее, по его словам, состояло в том, что дочь Иса-хана влюбилась в него, приходила к нему в мечеть и выказывала такую нежность, что он сказал ей: «Биби-сахиб (госпожа моя), я женщина». — «Нет, — возразила она, — хаджи, я знаю, что ты мужчина, и хороший мужчина». Он клялся, уповая на своё спасение, что он всего лишь женщина. Потом, продолжал он, Малек-Динар заболел лихорадкой, и в одну минуту его мать и родственницы сидели возле него, плакали и рвали на себе волосы, а в следующую музыканты уже играли и пели, и возникало такое смешение горя и веселья, какого хаджи прежде никогда не видывал. Наконец пришёл караван, и мир Рахмат до того замучил торговцев, притворяясь, будто хочет делать покупки, что многие охотно отдавали ему свои товары, лишь бы избавиться

от его назойливости. Хаджи необычайно позабавил меня рассказом о своих приключениях и обо всём виденном в Ваде и распрощался со мной, вне себя от радости, что сумел меня расшевелить.

Но я ещё не описал до конца первого дня, проведённого с миром Рахматом, то есть второго дня моего пребывания в Ваде; после полудня привели двух джогги (мусульман), чтобы они показывали своих змей. Вечером мир Рахмат настаивал, что, поскольку прошлой ночью я был гостем Малек-Динара и его матери, ближайший вечерний приём обязан устроить он, и это позволило ему выкрикивать множество приказаний. Его распоряжения насчёт овцы, риса сорта сурх-дасси, кориандра, тмина, лука, рогана и каждого отдельного ингредиента повторялись так громко и беспрестанно, что я думал, он никогда не замолчит. После трапезы мы устроили настоящий концерт, и лишь когда прошла значительная часть ночи, мне с трудом удалось уговорить его и его друзей удалиться.

С рассветом следующего утра мир Рахмат уже явился со своей лирой и, исполнив несколько мелодий и жалобных песен, повёл меня в соседний дом, полный принадлежавших ему чернокожих рабов. Он хотел показать мне, насколько богат этим видом имущества. Думаю, там вместе жило не меньше двадцати или двадцати пяти человек, главным образом женщин и детей. Он не знал, сколько у него рабов, ибо, по его словам, никогда их не считал, но приблизительно определял их число в пятьдесят, шестьдесят или семьдесят.

Рабы брагуи делятся на две категории: чернокожие, привезённые из Маската, и потомки пленников, захваченных во время войн с жителями западных областей страны, таких как Кедж, Турбат и другие; в разное время рабов привозили также из Кашмира и восточных областей Персии. Последние ни цветом кожи, ни чертами лица ничем не отличаются от своих господ, а некоторые женщины среди них отличаются замечательной красотой. С ними обращаются лучше, чем с их чернокожими товарищами по неволе, и возлагают на них менее тяжёлые обязанности. Лишь немногие из чернокожих, и притом только действительно полезные, одеты хотя бы пристойно, и они часто размножаются до такой степени, что хозяева, не имея возможности одевать и кормить их, отпускают их искать себе пропитание в других землях.

Моя лошадь так понравилась миру Рахмату накануне, что сегодня утром он снова попросил меня позволить ему проскакать на ней до возделанных земель, находящихся в трёх или четырёх милях. Поскольку я рассчитывал покинуть Вад вечером, я не согласился, что ему не понравилось, и он несколько надулся, а мне это оказалось для меня некоторым благом, ибо вместо того, чтобы донимать меня целый день, он развлекался в собственных покоях с Малек-Динаром, своим певцом и рабами. Мать Малека передала мне, чтобы я не обижался, и выразила уверенность, что Малек никогда бы не стал просить у меня лошадь.

Отсутствие мира Рахмата позволило приходить ко мне более рассудительным посетителям, которые говорили совершенно откровенно обо всём, как об общественных, так и о частных делах. О несчастьях Калата говорили без малейшего выражения враждебности, и даже мир Рахмат упоминал о судьбе своего отца лишь небрежным тоном. Вскоре я узнал, что между Рехим-ханом и ханом Махомед-ханом существует сильная вражда, но, заметив нежелание рассказывать о её причине, не стал настаивать на вопросе, предполагая, что дело, возможно, весьма деликатное. Правда, мир Рахмат, когда я спросил, намерен ли Рехим-хан вернуться в Вад, ответил: как он может вернуться, если отдалился от своих родственников и улуса? — намекая, как я полагаю, на его союз с джадгалами, или лумри, из Ласа. Каковы бы ни были чувства мира Рахмата и семьи Иса-хана, их приближённые, жители Вада и племя в целом были вполне расположены к Рехим-хану, который, как утверждали, являлся единственным достойным уважения вождем среди них. Некоторые из родных Рехим-хана жили здесь, и ко мне часто приносили одного из его грудных детей, а также Бадина, малолетнего ребёнка хана Махомеда. Обрабатываемые земли, принадлежавшие Ваду, находились главным образом, а возможно, и исключительно во владении вождей. Рехим-хан владел участками, приносившими ему до

пятисот гуни, или пятидесяти тысяч вадских маундов зерна (пшеницы, ячменя и риса); тогда как Иса-хан, мир Рахмат и другие члены семьи имели земли, приносявшие им ещё столько же; причём земли последних орошались преимущественно искусственно, а земли Рехим-хана большей частью были хушк-ава, то есть зависели от дождей.

Певец вождей сообщил мне, что сочинил джанг-наме в честь мучеников Калата, но пока ещё не исполнял его, приберегая до времени, когда Рехим-хан вернётся и вся семья соберётся вместе.

В течение дня появились несколько человек из числа сопровождавших хана Махомеда. Они оставили своего господина ещё в Зиди и рассказали об итогах поездки шаха Наваз-хана и о покорности мира Атта-хана, вождя сах-сахоли. Казалось, правитель Калата подверг себя опасности, употребив на совещании резкие выражения, когда он схватился за рукоять меча. Сах-сахоли отошли и зажгли фитили своих ружей, и дело могло кончиться дурно, если бы не вмешались сайиды, поскольку людей при хане было мало, а его противников — много.

Я не мог не заметить, что все отзывались о новом хане пренебрежительно и не имели столь высокого мнения о его положении, чтобы называть его иначе как маскери, или фарсом.

Я вполне полагался на обещание Шир-Махомеда, и незадолго до захода солнца увидел, как он размеренной поступью вошёл во двор, ведя своего верблюда. Мы были готовы, и Хассан начал седлать мою лошадь, когда пришло послание от матери Малек-Динара, умолявшей меня подождать, пока приготовят вечернюю трапезу, или, если я твёрдо решил отправляться немедленно, прежде вкусить то, что можно тотчас подать. Мы быстро покончили с поспешно приготовленной едой и, передав наилучшую благодарность гостеприимной госпоже, простились с её сыном и его беспутным двоюродным братом, которого, как говаривал бедный Мехраб-хан, следовало бы назвать миром Захматом (миром Докучливым), а не миром Рахматом (миром Милосердным).

Мы пересекли равнину до сада сирдаров, находившегося приблизительно в пяти или шести милях, где остановились на ночь. Было темно, но мы нашли много хижин, занятых рабами, которые трудились на полях, а теперь сторожили карманы, или кучи зерна. Они дали нам мякины, и мы отправились отдыхать.

Утром юноша принёс мне блюдо абрикосов и сказал, что приходится младшим братом миру Рахмату. Мы оставались здесь до полудня, затем пересекли русло за садом, после чего Шир-Махомед предложил идти в Багвану ближайшей и прямой дорогой через Каппар, минуя Хоздар. Поскольку последний я уже видел дважды, я без труда согласился. По дороге мы прошли местность под названием Лангледжи, где, как мне сказали, имеется немало следов древних времён и где иногда, хотя и редко, находят медали. Подобные следы, уверяли меня, многочисленны в Орначе, а в горах близ Вада находится много горбандов, или древних холмов и валов. Мы шли большую часть ночи и остановились у начала невысоких гор, в месте, лишённом воды.

К утру мы возобновили путь среди лабиринта холмов, по довольно сносной дороге, и ненадолго остановились приготовить пищу в местности Чураны («место разбойников»), где в русле водотока струился скудный ручеек. К нам присоединились две или три небольшие группы брагуи, направлявшиеся в Багвану или возвращавшиеся оттуда; и прежде чем мы ушли, прибыл хан Махомед-хан с двумя всадниками. Узнав, что я ференги, он обнял меня, обстоятельно расспрашивал о своём маленьком сыне Бадине и выразил надежду, что Малек-Динар принял меня со всей любезностью. Отведя меня в сторону, он попросил сообщить лейтенанту Лавдею, что дорога из Калата в Сунмиани никогда не будет безопасна для купцов, пока Рехим-хана не заманят в Карачи и не заключат под стражу, ибо именно он причина всех бед. Он весьма хитро наставлял меня говорить поменьше от его имени, но побольше от своего, добавляя, что меня, естественно, станут расспрашивать, поскольку я проехал по этой дороге. Если Рехим-хан не будет схвачен, говорил он, ему самому придётся оставить Вад, ибо за ним закрепится дурная слава; а поскольку он признаёт власть ференги, то должен жить в Калате. Втайне я восхитился

ловкостью хана Махомеда, но обещал передать сказанное им, что и сделал, увидевшись с лейтенантом Лавдеем в Калате, позаботившись, однако, представить дело в истинном свете. После полудня мы вышли из Чурани и, сделав небольшой крюк, попали на широкую ровную равнину Вир. Она была усеяна возделанными участками, а для хранения мякины стояло несколько глинобитных строений. За Виром короткий переход через другие невысокие холмы привёл нас к началу равнины Перозабад, по которой протекал ручей со стороны Каппара. Здесь мы остановились на ночь, примерно в двух милях от селения Перозабад, лежавшего впереди.

Утром мы миновали слева свинцовые рудники Каппара, расположенные в горе, казалось целиком состоявшей из этого металла. Там постоянно занято около двухсот рабочих, принадлежащих к особому народу, который не является брагуи и не считается коренным населением страны. Свинец чрезвычайно распространён в горах Центрального Белуджистана, но, как утверждают, лишь на этих рудниках его добывают систематически. Они расположены неподалёку от Багваны, однако, не доезжая до неё, мы прошли ещё одну небольшую равнину, пересечённую удивительно прочной стеной, или гор-бастой, одной из наиболее совершенных, какие мне доводилось видеть, и которую едва ли можно было соорудить для какой-либо иной цели, кроме оборонительной. Прибыв к группе деревень на равнине Багваны, мы остановились под деревьями близ старого селения Камал-хана и вскоре узнали, что шах Наваз-хан находится неподалёку. Недавно он отпраздновал свадьбу с сестрой Камал-хана, вдовой покойного джама Ласа, а через два или три дня намеревался сопроводить молодую супругу в Калат. Его также посетил лейтенант Лавдей, доставивший договор, утверждённый правительством Индии, и поздравления по случаю бракосочетания. Вскоре после нашего прибытия мир Атта-хан, вождь сах-сахоли, прибыл с двадцатью пятью или тридцатью всадниками и остановился у соседнего зиярата, или святилища. В обмен на признание власти шаха Наваз-хана он только что получил хилат, или почётное одеяние, и, облачённый в него, проехал торжественным шествием перед ханским шатром; впереди, несколько поодаль, ехали два молодых сайида на очень хороших лошадях. Махомед-хан Раисани, наиб, или наместник, хана в Багване, сопровождал кавалькаду сах-сахоли и, узнав, что я ференги, спросил, известно ли хану о моём присутствии, после чего тотчас отправился доложить ему. Вскоре он возвратился вместе с индусским диваном хана, и они спросили, чем могут быть мне полезны. Хан желал прислать шатёр, овец и другие вещи, ибо сам хан — мой слуга, а его страна — моя. Я объяснил, что я всего лишь путешественник и даже не состою на правительственной службе, а потому хану нет никакой причины подвергать себя хлопотам или расходам ради меня; что я благодарен ему за добрые намерения, но, если он приведёт их в исполнение, я буду смущён, ибо недостойн этого. Они ушли, но скоро вернулись и стали умолять меня принять овец и прочее; я же просил освободить меня от этого, поскольку не имел даже посуды, в которой их можно было бы приготовить. Тут Махомед-хан узнал во мне спутника Гул-Махомеда Камбарари в моём путешествии к Чехель-Тану в 1831 году и прежнего постояльца в его томане в Ханаке*. Его лицо тотчас просияло, ибо среди всех простых народов даже самое мимолётное знакомство признаётся знакомством; и по правде говоря, память у него была лучше моей, поскольку я его не помнил; но он отбросил всякую сдержанность и церемонность и бросился рассказывать хану, что новый ференги — его старый друг.

* См. «Описание путешествий и пребывания в Белуджистане, Афганистане и Пенджабе и т. д.», т. II, с. 71.

В течение дня хан прислал довольно роскошное угощение, а вечером его шахгасси, также утверждавший, будто мы прежде встречались, как и большинство других людей, приходивших теперь повидаться со мной, передал, что хан желает меня видеть.

Я отправился в шатёр шаха Наваз-хана; при моём появлении он встал, обнял меня и усадил рядом с собой. Мы некоторое время беседовали, и я повторил то, что уже говорил его людям: я не состою на государственной службе и потому не имею права рассчитывать на особое внимание на этом основании. Он спросил, отправлены ли войска в Сунмиани? Я ответил:

«Нет»; и на другой вопрос, не были ли они «мукаррар», то есть назначены туда, отвечал, что слышал об этом. Когда я рассказал о задержке в Беле и о ложных слухах, ходивших там в то время, он улыбнулся и принялся расточать самые пространные уверения в благодарности и преданности британскому правительству. По справедливости к шаху Наваз-хану я должен здесь заметить, что и публично, и наедине он неизменно выражал одни и те же чувства, притом в столь униженных выражениях, что брагуи стыдились за него.

В разговоре и манерах хан не выказывал ни малейшей церемонности или сдержанности, возможно приобрета лёгкость и непринуждённость дуранни за три года пребывания в Кандагаре. Я не стал бы считать его приветливость недостатком, однако подданные в целом, и особенно брагуи, относятся к ней весьма неодобрительно, ожидая, что их хан будет серьёзен и исполнен достоинства как в беседе, так и в поведении. Помимо хана, единственным знатным человеком среди присутствующих был мир Камал-хан из Багваны, которого я увидел впервые. Он сидел совершенно без церемоний, без верхней одежды, в одной рубахе и без тюрбана на голове. Вскоре объявили о прибытии мира Атта-хана, и небольшой шатёр наполнился его спутниками. Двух молодых сайидов, содействовавших установлению согласия между ханом и сах-сахоли, посадили по правую руку хана, а за ними уселся мир Атта-хан со своими приближёнными по порядку. С брагуи много говорили на кур-гали, и я заметил, что, хотя однажды удачное замечание шаха Наваза вызвало смех большинства присутствовавших, в другое время его склонность к насмешкам и шуткам отнюдь не встречала одобрения; мне показалось, что на лице Камал-хана выражалось сожаление о том, что его хан и шурин так много говорит и столь мало по существу. С двумя молодыми сайидами и более старым, по имени Фазил-шах, их противником, хану пришлось вести ожесточённый спор. Юноши претендовали на некоторые земли и определённые права, которые Фазил-шах, некогда зависевший от их семьи, по их утверждению, незаконно присвоил. Было нетрудно заметить, что хан и Камал-хан благоволят Фазил-шаху, но молодые сайиды упорно отстаивали свои права и говорили много и настойчиво; в самом деле, между ними и ханом словно шло состязание, кто скажет больше. Фазил-шах время от времени вставлял несколько слов, но Камал-хан, возле которого он сидел, останавливал его, дёргая за рукав рубахи всякий раз, когда тот выказывал намерение пуститься в пространные речи. Весь довод хана против настойчивых требований молодых сайидов немедленно вынести решение по существу их дела заключался в том, что он не может осмелиться вмешиваться в спор между сайидами, поскольку все спорящие принадлежат к их числу, и что дело необходимо рассмотреть по всем правилам перед компетентным судом; иными словами, нужна отсрочка. Я был очень доволен, когда сайиды и мир Атта-хан удалились, поскольку и сам смог проститься с ханом, который сказал, что отряд всадников будет сопровождать меня до Калата, на что я заметил, что в этом нет никакой необходимости.

Беседа между ханом и сайидами велась на языке синдхи, поскольку молодые люди, хотя и являлись духовными наставниками сах-сахоли, племени брагуи, происходили из Синда и не знали языка брагуи; это обстоятельство позволило мне узнать, что брагуи, в отличие от всех прочих мусульманских народов, не имеют среди себя ни сайидов, ни пиров, ни мулл, ни факиров, ни каких-либо лиц, претендующих на боговдохновенность или святость, и вынуждены, питая должное почтение к их ремеслу, искать подобных людей среди чужеземцев. Я спросил слуг хана, какая сторона была права в только что завершившемся продолжительном споре, и мне ответили, как я и ожидал, что молодые сайиды.

В этот вечер певец мира Атта-хана долго не давал нам заснуть, распевая своему вождю джанг-наме о самоотверженном Мехраб-хане. Удивительны были подвиги, приписываемые ему; а войско ференги называли «лашкар-и ходаи», или войском Божиим, и говорили, будто ему нет числа, — лакхи и лакхи. Песня завершалась замечанием, что «Все ахмадзаи умерли достойно, но Мехраб смертью своей превзошёл остальных: ва тилла шуд — и превратился в золото».

Меня удивило, что личные приближённые шаха Наваз-хана не ставили его достоинство выше, чем его сторонники в Ваде, и считали его всего лишь «маскери», или фарсом. Должно быть, он сам чувствовал нелепость положения, в котором оказался. У него было не более двадцати пяти или тридцати слуг и вооружённых людей, то есть свита меньшая, чем у разбойничьего вождя мира Атта-хана, которому именно теперь показалось удобным выразить покорность. Здесь, как и повсюду, постоянно замечали, что, если говорить правду, страна принадлежит сахибам, а шах Наваз — лишь их наиб, или заместитель. Рассеять это представление, которое подтверждалось самим положением дел, было невозможно, а распоряжения, касавшиеся несчастной страны Белуджистан, оказались столь неуклюжими, что, оставаясь непонятными всем, они вместе с тем не позволяли хану создать правительство.

Ранним утром следующего дня, вскоре после завтрака, шах Наваз прислал мне большое блюдо прекрасных абрикосов. По крайней мере, его кухня, казалось, была хорошо устроена; я узнал, что повара у него из Кандагара. Шир-Махомед, мой проводник-мингал, обязался идти не дальше Багваны, и поэтому я нанял другого человека с верблюдом, чтобы доставить мои вещи в Калат за три рупии.

Я собирался отправиться в Калат после полудня, и шах Наваз, не ослабевавший в любезности, прислал через своего индусского дивана овцу и корзину муки, объяснив, что по дороге я не смогу достать припасов (утверждение более вежливое, чем правдивое), и настаивая, чтобы я принял подношение. От конного сопровождения я отказался, но был прислан один всадник, некий Гази-хан, против которого я не возражал, зная, что он везёт собственные письма хана в Калат.

Из Багваны мы прошли около десяти или двенадцати миль по довольно открытой местности и остановились в месте под названием Зохвар, где был ручей, но не было жилищ. Там мы обнаружили пеш-хану, или передовой шатёр, шаха Наваза, но слуги либо спали так крепко, что их нельзя было разбудить, либо не желали отвечать на оклики Гази-хана. Мы провели здесь несколько ночных часов под непрерывный вой диких животных в окрестных горах, а перед рассветом возобновили путь. Небольшой крюк вывел нас на обширную равнину Лакориан, у северного края которой находятся значительные горбанды, или басты. На этот раз у меня было больше возможностей, чем прежде, осмотреть эти остатки, и я не мог не заключить, что они, как и находящиеся близ Багваны, представляют собой оборонительные сооружения, или укреплённые линии. Они полностью прикрывали вход в ущелье, соединяющее равнину Лахориан с равниной Анджира, а все второстепенные проходы, через которые можно было проникнуть в ущелье, были тщательно защищены. Главный вал шёл параллельно глубокому оврагу и примыкал к небольшому возвышению. Эти памятники замечательны не только своими размерами, но и прочностью, а также искусством, можно сказать наукой, явственно обнаруживающимися в их устройстве. Удивительно лишь, какому народу их следует приписать; и на этот вопрос местные предания не дают ответа. Пройдя ущелье, мы спустились на равнину Анджира и пересекли её до ручья, возле которого не было тени, но на возвышенном месте зеленели участки растительности, из которых вытекало несколько маленьких родников; там мы и остановились. Ниже нас на равнине стояли два каравана, один принадлежал брагуи-камбарари, другой — сайидам из Пешинга, теринам и другим, направлявшимся из Сунмиани. Сайиды хотели, чтобы я принял овцу; а когда я отказался, поскольку благодаря щедрости шаха Наваза мы были хорошо обеспечены мясом, они принесли немного бомбейского риса и посуду для его приготовления. На равнине не было ни одного жилища, но имелось много возделанной земли, и повсюду были разбросаны кучи мякины от недавнего урожая. Неподаляку от нашего привала находилась также руд-хана, берега которой окаймляли кусты олеандра, неизменно встречавшиеся нам в подобных местах со времени отъезда из Вада. За день к родникам пришло множество женщин брагуи из гор. Сайиды из Пешинга жалели их тяжёлую долю, вынуждавшую ходить босиком за водой по три или четыре мили. Видев женщин Пешинга в таком же

положении, я заметил, что подобные слова странно слышать от людей, чьи жёны терпят те же лишения. Мне возразили, что в Пешинге до воды идти недалеко.

Под вечер мы отправились в Шораб и прибыли туда ночью, остановившись в одной из деревушек под названием Шехар-Бахал по имени живущих там бахалов, или индусов. Жители спали, но Гази-хан сумел раздобыть мякины для наших животных, а это было всё, в чём мы нуждались. Проснувшись на следующее утро, мы узнали, что мякина и все прочие необходимые припасы собраны для меня в соседней деревушке по приказу шаха Наваз-хана, который, как выяснилось, не предупредив меня, послал вперёд гонца; за этот знак внимания я не мог не быть ему благодарен. Едва я об этом услышал, как прибыл шахгасси, ханский служащий в этом месте, со своей свитой, чтобы приветствовать меня, и сообщил, что дом для моего пребывания уже приготовлен и что он всю ночь не ложился, ожидая меня. Поэтому мы переселились в отведённое нам помещение, а шахгасси во исполнение полученных приказаний был готов причинить себе немалые хлопоты; я, однако, не позволил ему, хотя не смог помешать зарезать ягнёнка. Он попросил меня не ложиться спать, поскольку собирался принести нари, или завтрак, и тотчас подал превосходные лепёшки с отличным маслом и множество вкуснейших абрикосов. В надлежащее время мне предложили и более основательную трапезу; после полудня мы простились с Шорабом и заботливым шахгасси, последней любезностью которого стало вручение моим людям корзины абрикосов со словами, что в Калате они ещё не созрели.

К ночи мы добрались до необитаемого места под названием Гандаген, где спали почти до рассвета, а затем продолжили путь к селению Родинджо, где раис Рахматулла встретил нас довольно холодно. Я некоторое время отдыхал, когда меня разбудил Хассан и сказал, что несколько жителей деревни принесли для меня угощение. Оказалось, что гостеприимство проявила семья муллы Иззата и что деревенскую пищу принесли два её сына. Раис Рахматулла и его люди, не будучи грубы, держались всё же сдержанно и церемонно, пока один из них, Шаффи-Махомед, не узнал во мне спутника по путешествию, совершённого мною в 1831 году из Калата через перевал Муллох в Джелл, Синд и Сунмиани. Я тоже хорошо его помнил, поскольку он был одним из погонщиков верблюдов Каликдада и в то время серьёзно досаждал мне, когда я страдал от болезни. Я напомнил ему об этом в шутливом тоне, и он сказал, что тогда не знал, кто я такой. Переданные им сведения мгновенно устранили сдержанность раиса, который, прощаясь со мной вечером, когда отправился к своей семье на Дашт-Гаран ниже Родинджо, оставил несколько своих людей нарочно для исполнения любой моей просьбы, что в известном смысле было излишним, ибо я старался никого не беспокоить.

Поскольку мы были уже близ Калата, мы не покидали Родинджо до полудня следующего дня; затем, пересекши обширную равнину за ним, вошли в невысокие холмы Тахт-Бадшах и Пул-Санджан и, поднявшись на небольшой перевал, увидели перед собой сады столицы брагуи. Я направился к предместью Баби, выслав вперёд Хассана известить о моём приближении, и мой старый друг Фаиз-Ахмед с некоторыми членами семьи и соседями вышел навстречу, чтобы приветствовать меня.

Первой их заботой стало решить, где мне будет удобнее всего жить во время пребывания; выбор пал на небольшой сад неподалёку от предместья, куда я и отправился вопреки несогласию владельца, который, казалось, так сильно боялся ференги, что Фаиз-Ахмеду едва удалось преодолеть его возражения против моего приёма. Абдул-Вахид, прежний знакомый, пришёл приветствовать меня; его родственник Фаиз-Ахмед вернулся домой, чтобы принести угощение и чай. Абдул-Вахид сказал мне, что меня ожидали благодаря известиям от Каликдада и сообщению лейтенанта Лавдея, который совсем недавно заверил его, что я прибуду. Когда я достиг Калата, было уже после полудня, а ко времени, когда Фаиз-Махомед принёс чай, стало поздно; к тому же ко мне непрерывно стекались прежние знакомые, и потому тем вечером я не посетил лейтенанта Лавдея. Он, однако, узнал о моём прибытии и заметил, что я, должно быть,

низкий человек, ибо, будь я джентльменом, я явился бы к нему. Это замечание мне передали, и я только улыбнулся.

Не только после моего отъезда из Карачи, но ещё и во время пребывания там я слышал самые удивительные рассказы о лейтенанте Лавдее, или Лабадин-сахибе, как его называли местные жители. Ему приписывали столь необыкновенные поступки, притом настолько отличные от того, чего обычно ожидают от британских офицеров, что я не склонен был верить этим историям и предпочитал относить распространённые неблагоприятные впечатления на счёт раздражённости и богатого воображения подданных покойного хана Калата. Такое объяснение казалось единственно разумным, ибо предполагаемые чудовищные действия не могли бы совершаться без ведома его начальства, а допустить, что оно терпело бы их, зная о них, было невысказано. Однако слухи были столь повсеместными, во всех местах и среди всех партий, что трудно было избежать подозрения, что человек этот должен быть весьма странным. Я ничего о нём не знал и даже в Карачи не смог выяснить, военный он офицер или гражданский чиновник.

На рассвете следующего утра, несмотря на отталкивающее замечание лейтенанта Лавдея, я отправился к его шатру, стоявшему, быть может, в ста пятидесяти ярдах от моего сада, где он руководил постройкой дома. Когда я подошёл к нему в сопровождении Абдул-Вахида, он сказал: «Мистер Массон, полагаю?» Я ответил: «Да», — после чего он продолжил: «Можем с тем же успехом войти в шатёр». Он пошёл впереди, а я последовал за ним. В шатре, собственно, был всего один стул, на который я, конечно, не сел бы, даже если бы он предложил; однако он не позволил мне проявить мою воспитанность, зато показал собственную, велел мне сесть на землю, поскольку я к этому привык. Затем он переоделся и бросил передо мной три или четыре газеты, чтобы я мог развлечься тем временем. Принесли завтрак, после которого мы беседовали несколько часов, приблизительно до полудня. Он особенно подробно расспрашивал о Ласе, и я понял смысл оскорбительных распоряжений шаха Наваз-хана относительно тамошних пошлин. Он, однако, отрицал, что посылал какие-либо письма джаму или даже мелким вождям, взимающим сборы на дороге из Белы в Вад. Когда я заговорил о несправедливости такого порядка по отношению к джаму, он заставил меня замолчать утверждением, что «сила — это право». Я объяснил ему положение и чувства Рехим-хана, насколько мог судить о них, и он сказал, что, если моего влияния на него достаточно, чтобы склонить его приехать в Калат, с ним не случится ничего дурного. Он хвастался изгнанием брагуи из Качи и присоединением этой области к Кабульскому королевству как блестящим политическим мероприятием. Я не спросил, почему он так его расценивает; но когда он заявил, что лорд Окленд желает укрепить государство брагуи, я не мог удержаться от замечания, что для достижения этой цели избран чрезвычайно неудачный способ: разъединить его провинции и поставить правителя без доходов и каких бы то ни было средств. Он признал, что хан беден, и сказал, что хотел бы сформировать для него дисциплинированный корпус в триста человек, но на это нет денег. Он рассказал о своих попытках захватить врасплох сына Мехраб-хана в Панджгуре и Нушки и сообщил, что, если бы юношу удалось захватить, его отправили бы в Кветту и обучили английскому языку, тогда как дарогу Гул-Махомеда привязали бы к пушке и взорвали. Я спросил, чем именно дарога так тяжко провинился; лейтенант Лавдей ответил, что перед взятием Калата были перехвачены многие его письма, а в самом городе обнаружилось ещё множество других, представлявших доказательства дьявольского заговора, и потому простить его нельзя. Он объяснил меры, принятые в отношении возвращённых округов Мастунга и Кветты, и сказал, что я буду восхищён, когда увижу Мастунг, доход которого он лично установил в двадцать семь тысяч рупий, сдав сбор доходов на нынешний год на откуп дивану Раму, но намереваясь в следующем году собирать их самостоятельно. Он также весьма гордился тем, что открыл перевал Муллох, взорвав из пушки мелкого вождя, который делал его опасным, и сказал, что хотел бы поймать Фати-Али из Орнача, чтобы поступить с ним так же. Говоря также о Мастунге, он выразил сожаление, что ему не удалось убедить капитана Бина взорвать

из пушки Махомед-хана Шервани вместо того, чтобы назначать его наибом шаха, поскольку были найдены подозрительные письма от него к покойному Мехраб-хану. Мы долго говорили о целесообразности мер, приведших наши армии за Инд, и я свободно высказывал своё мнение об ошибках и дурном управлении, испортивших всё дело, и о страшной неразберихе, которая неизбежно должна когда-нибудь последовать. Не вполне соглашаясь со мной или, быть может, просто не желая открыто признавать своё согласие, он сделал одно верное замечание: консерваторам придётся потратить миллионы на исправление ошибок вигов, как бывало всегда. Он расспрашивал о дороге из Сунмиани и о том, за какую сумму я взялся бы привести её в хорошее состояние, на что я вынужден был ответить, что ничего не понимаю в дорожном строительстве. Он также спросил, собираюсь ли я написать книгу, а затем сообщил, что намерен предпринять путешествие в Керман, в Персии. Я объяснил цели своих странствий и своё намерение отправиться в Кандагар, а оттуда в Кабул, как только ко мне присоединятся мои слуги с багажом. Он особенно подробно спрашивал о караване, поскольку с ним должна была прибыть весьма значительная часть его припасов из Бомбея, а я видел его людей в Сунмиани; кроме того, торговец из Баби Гулам, которого я встретил в Кохарн-Вате, был послан им по этим делам.

Наконец, когда у шатра собралось несколько человек, я заметил, что у него, вероятно, есть дела, и стал прощаться; он повёл меня посмотреть своих арабских лошадей, а затем попросил пообедать с ним в его доме в городе между тремя и четырьмя часами. Сначала я отказывался, но согласился, когда он сказал, что хотел бы показать мне дом.

После полудня, когда мне показалось, что назначенный час настал, я пешком отправился в его городской дом, прежде принадлежавший наibu мулле Хассану, откуда были извлечены драгоценности, захваченные в Калате. Я нашёл лейтенанта Лавдея в просторной комнате, стены которой были увешаны доспехами, а углы заставлены пиками, алебардами, боевыми топорами и прочим оружием, добытым из арсенала покойного хана. Он лежал, вытянувшись на своём ложе, и сообщил, что уже давно пообедал, но для меня кое-что оставили. Я заметил, что он правильно сделал, не дожидаясь. Мы снова некоторое время разговаривали, но он был чрезвычайно беспокоен, то вдруг поднимаясь с ложа и садясь на стул, то столь же внезапно покидая стул и возвращаясь на ложе. Он показал мне план строившегося им дома и готических окон, которые задумал для него; однако, когда приблизился закат, он поднялся, чтобы удалиться в свой шатёр за городом, где ночевал. Я пожелал ему доброго вечера и тоже собирался уйти, но он попросил меня поговорить с его мунши. Я возразил, что мне нечего сказать мунши, на что он уверил меня, что этот человек чрезвычайно умен и я буду весьма удивлён его рассудительностью. Тогда я сказал, что вреда в этом не будет, и он представил меня мунши на террасном дворе снаружи, расположенном на одном уровне с комнатой. Это был тот несчастный человек, которого впоследствии убили вместе с отрядом сипаев в Мастунге, — первый открытый акт восстания брагуи. Он рассказал много подробностей о взятии Калата. Его рассказ о смерти Мехраб-хана немного отличался от версии лейтенанта Лавдея, который, впрочем, признавал, что обстоятельства точно не установлены, кроме того, что хан был убит в схватке людьми, повергшими его наземь и не узнавшими, кого они убивают. Он сообщил мне, что лорд Окленд первоначально решительно возражал против низложения калатского хана и никогда не одобрял этого, но вследствие сделанных ему представлений был в конце концов вынужден оставить решение на усмотрение исполнителей. Что касается договора с Мехраб-ханом, заключённого сэром Александром Бёрнсом, то, когда я спросил, почему сэр Александр опротестовал его, мунши ответил, что Бёрнс-сахиб выехал из Кветты, хвастаясь, что приведёт с собой Мехраб-хана, а когда вернулся без него, господа стали смеяться, отчего он рассердился и опротестовал договор. Я видел письмо сэра Александра Бёрнса, где он утверждал, что, когда возвращался из Калата с заключённым им договором, его подстерёг отряд, посланный Мехраб-ханом, и отобрал договор; по этой причине, немедленно по прибытии в Кветту, он заявил свой протест против него. Он добавлял, что, по его мнению, Мехраб-хан отправил отряд ещё до

подписания договора, а его приказ об отзыве не застал отряд, но это обстоятельство, как он считал, не меняло его взгляда на дело и не умаляло подлости хана. Лейтенант Лавдей не упоминал об этом преступлении, приписываемом Мехрабу, и я был несколько удивлён, обнаружив, что его мунши тоже о нём не говорят, хотя весьма настойчиво перечисляет многочисленные проступки хана. Он пространно рассказывал о разграблении обоза армии во время прохода через Боланский перевал и утверждал, что, хотя Мехраб-хан отрицал всякую причастность к этому, у племён брагуи из Мерва и Испринджи были куплены перочинные ножи и хирургические инструменты, что в его глазах доказывало участие хана в ограблении. Однако он признал, что среди имущества хана, захваченного в Калате, не нашли ни одной вещи, которую можно было бы счесть принадлежавшей армии, и что никаких денег, кроме двадцати тысяч рупий Компании, вручённых хану Бёрнсом-сахибом, обнаружено не было. Я спросил, как случилось, что политические власти позволили беспринципному мулле Хассану так совершенно обмануть себя. Он ответил, что они действительно были обмануты и так и остались бы в заблуждении, если бы не письма, обнаружившиеся в Калате: когда посланник и министр узнал о заключении мุลлы Хассана под стражу, он написал с вопросом, почему с его старым другом так дурно обошлись; в ответ капитан Бин переслал копии разоблачавших его писем, тогда как подлинники были отправлены в Калькутту. Я узнал также, что шаху Наваз-хану было отдано предпочтение при назначении правителем Калата на основании законности происхождения, поскольку он являлся потомком Мохабат-хана, старшего брата знаменитого Насир-хана; и в его пользу мунши сказал, что он действует «ба мирзи», или согласно воле сахибов.

Из беседы с мунши я мог согласиться с лейтенантом Лавдеем, что это человек умный; но, поскольку становилось поздно, я простился с ним и обнаружил, что Налрусаху, человеку, пользовавшемуся большим расположением лейтенанта, его господин приказал отвезти меня домой на верховом верблюде. Кроме того, лейтенант Лавдей, уходя, вновь пригласил меня завтракать с ним в его шатре на следующее утро.

Человек, в саду которого поселил меня Фаиз-Ахмед, был отнюдь не доволен моим присутствием; ибо ференги приобрели столь дурную славу, что он не мог представить, как один из них может жить так близко от него и не навлечь на него беды, а мои визиты к лейтенанту Лавдею только укрепляли его мрачные предчувствия. Фаиз-Ахмед тщетно старался примирить его с моим присутствием, и я дал понять, что перемену жилища, поскольку мне самому было неприятно считаться обузой. Поэтому Фаиз-Ахмед отыскал другое подходящее место и нашёл его в саду, некогда принадлежавшем Фазил-хану, ныне беглецу в Маскате, но перешедшем во владение шаха Наваз-хана. Я переселился туда, оказавшись немного ближе к шатру лейтенанта Лавдея, хотя и дальше от Баби-Хель, где жил мой друг.

За этим садом присматривала старая женщина, прежде зависевшая от Фазил-хана, но не удалённая шахом Наваз-ханом. Она также очень не желала, чтобы я жил в её саду, и отправилась прямо в цитадель жаловаться на моё вторжение и на Фаиз-Ахмеда, который его устроил. Она встретилась с миром Фати-ханом, братом хана, который принял её грубо и сказал, что сад принадлежит мне, пока я пожелаю в нём оставаться. Старуха вернулась и не произнесла ни слова; но спустя день или два сказала мне, что страх одолел её и теперь она столь же горячо желает, чтобы я остался, как прежде стремилась меня выгнать.

Утром я поднялся с минутным намерением сходить к шатру лейтенанта Лавдея; но, вспомнив, каким приёмом он меня удостоил, его неприятные замечания и даже странность его манер и разговоров, я рассудил: какое мне до него дело? и зачем мне беспокоить его своим обществом или самому терпеть досаду от его общества? — и больше к нему не пошёл. Я тогда придавал всему происшедшему столь мало значения, что в заметках, случайно попавших позднее мне в руки, я упомянул о своём общении с лейтенантом Лавдеем лишь следующими словами: «На другое утро я отправился навестить мистера Лавдея и нашёл его в месте напротив города, где он наблюдал за постройкой дома. Я позавтракал с ним, а затем он пригласил меня

обедать в своём доме в городе в половине четвёртого. У меня не было возможности узнать точное время; и, поскольку погода была облачной, я, возможно, явился не вполне точно, ибо, когда я пришёл, мистер Лавдей уже пообедал и мне пришлось сидеть и есть одному». Так мало значения придавал я ему самому и случившемуся, что не счёл ни то ни другое достойным более подробного упоминания или замечаний.

ГЛАВА III.

Состояние Калата. — События, приведшие к нему. — Начало сношений с Мехраб-ханом. — Сведения сэра Александра Бёрнса. — Отказ от договора. — Взятие Калата и смерть Мехраб-хана. — Перемены в управлении и раздел владений Калата. — Мнения о виновности или невинности Мехраб-хана. — Обвинения против него. — Объяснение этих обвинений. — Действия посланника и министра. — Подкуп им наиба муллы Хасана. — Двulichие и злодейства наиба. — Миссия сэра Александра Бёрнса в Калат. — Её результаты. — Поход войск на Калат. — Продолжение злодейств ханских приближённых. — Пренебрежение хана оборонительными приготовлениями. — Штурм Калата. — Обнаружение вероломства наиба муллы Хасана и других. — Наставления Мехраб-хана своему сыну. — Драгоценности, доставшиеся победителям. — Неразумные меры политических властей. — Раздел страны. — Признание Шах Наваз-хана. — Назначение политического представителя. — Деятельность лейтенанта Лавдея. — Сын Мехраб-хана, скрывающийся в Харане.

Калат своим видом и состоянием представлял печальный контраст с тем спокойным и процветающим городом, каким я видел его прежде. Большая часть города была необитаема, а небольшой базар, некогда оживлённый и хорошо снабжавшийся товарами, теперь был почти пустынен. Самих жителей угнетали уныние и отчаяние, и одеты они были в грубые, жалкие лохмотья бедняков. Все мои старые знакомые жестоко пострадали от разграбления своего имущества, и мне было больно видеть, как люди, ещё недавно жившие в достатке и благополучии, являлись ко мне в нужде и нищете. Небо, правда, оставалось таким же ясным, как прежде, сады зеленели, и долина, как и раньше, была украшена возделанными полями, однако над всей картиной лежало некое одиночество, действительное или воображаемое мною, которое передавалось и мне, так что, при всём желании сохранить бодрость, я невольно приходил в уныние и печаль. Намерение, возникшее у меня в Карачи, остаться здесь на два или три месяца, чтобы подготовить к изданию некоторые из моих рукописей, рассеялось по прибытии, ибо я ясно видел, что столица брагуев уже не была тем мирным и безопасным пристанищем, каким была когда-то, и, кроме того, мне было мучительно наблюдать окружавшие меня опустошение и бедствия.

Но мне необходимо было дождаться своих слуг и вещей, следовавших с Каликдадом и его караваном. Поэтому у меня было достаточно досуга, чтобы беседовать о событиях, происшедших после моего отъезда из страны в 1831 году, и узнать, что было известно о бедствиях, сопровождавших появление британских армий в Белуджистане. Публике об этих прискорбных событиях известно едва ли что-либо, кроме того, что Калат был взят штурмом отрядом британских войск под начальством генерал-майора Уилтшира и что его правитель Мехраб-хан вместе со многими своими вождями был убит. Побудительные причины этого акта мести никогда не раскрывались и едва ли будут официально обнародованы, поскольку они слишком ясно показали бы неспособность, заблуждения и ошибки, если не дурные страсти, несчастных людей, избранных лордом Оклендом для осуществления его призрачных замыслов за Индом. Поэтому, проливая на эти действия столько света, сколько позволяют мои сведения, я, быть может, внесу несколько страниц в историю богатого событиями времени, и, хотя речь пойдёт о преступлениях и событиях прошлого, эти страницы могут послужить установлению истины и предотвращению будущих бед.

Когда в 1838 году было принято решение об экспедиции и, сверх того, определено, что она пройдёт через владения хана Калата к Кандагару, стало совершенно очевидно, что необходимо заручиться содействием этого правителя. Прежде чем говорить о мерах, принятых для его обеспечения, следует, пожалуй, взглянуть на сношения, существовавшие (если о них вообще можно говорить) с несчастным брагуйским ханом. В 1837 году, когда капитан Бёрнс поднимался по Инду по пути в Кабул, он отправил любезное письмо с подарками юному сыну хана, жившему тогда в Гандаве, в Качи, и получил в ответ письмо с благодарностью и подтверждением получения. Когда капитан Бёрнс, потерпев неудачу в своей миссии к Дост Мухаммед-хану, возвращался из Кабула, он распорядился, чтобы лейтенант Лич, находившийся тогда отдельно от него в Кандагаре, отступил в Шикарпур и там поступил под распоряжения полковника Поттингера, агента генерал-губернатора в Синде. Лейтенант Лич, следуя этим указаниям, прибыл в Кветту, находившуюся во владениях калатского хана, и оттуда по приглашению продолжил путь в Калат. Его приняли с почтением и учтивостью; он и хан обменялись подарками, однако со временем последнему пришлось не по нраву некоторые поступки его гостя, и он был весьма рад, когда лейтенант Лич наконец покинул его и его страну. К тому времени стало известно о намерении восстановить на престоле Шах Шуджу уль-Мулька. Что именно говорили по этому поводу лейтенант Лич и хан, я не знаю, равно как и то, был ли лейтенант уполномочен вести с ним такие переговоры, однако, поскольку тогда вошло в обычай, чтобы каждый делал то, на что не имел полномочий, можно предположить, что лейтенант Лич едва ли упустил случай проявить своё усердие, и результат, судя по мнению, которое составил о нём Мехраб-хан, вряд ли мог быть удовлетворительным. Несомненно одно: лейтенант Лич покинул Калат весьма недовольный ханом.

Лейтенант Лич уже достиг Шикарпура, где к нему присоединился сэр Александр Бёрнс, направленный лордом Оклендом для заключения договора с вождями Хайрпура в Северном Синде и для сбора запасов и всего необходимого к прибытию армии. Сэр Александр оставил Шикарпур, чтобы встретить армию при её приближении к границе Синда, и при его свидании с сэром Генри Фейном у переправы близ Сабзал-Кота я впервые увидел его после отъезда из Пешавара в Симлу. Среди многочисленных вопросов, которые мы тогда обсуждали, естественно возник и вопрос о положении дел в Калате. Сэр Александр заметил, что Лич совершенно расстроил там все дела. Поскольку одной из главных целей, за которые я тогда боролся, было получение такого занятия, где мои усилия могли бы заслужить и получить признание, я не удержался и спросил, не позволят ли мне отправиться в Калат и привести там всё в порядок; однако сэр Александр опустил голову и не ответил. Впоследствии я видел сэра Александра в Рохри, и он сообщил мне, что Мехраб-хан конфисковал зерно, собранное агентами лейтенанта Лича в Качи, и что он написал хану письмо, которое, по его собственному выражению, «ошеломит его»; кроме того, Шах Шуджа уль-Мульк, также прибывший к тому времени в Шикарпур, написал тому же правителю, напоминая ему, что Шах Наваз-хан находится в королевском лагере. Из этих сведений можно было с основанием заключить, что несчастному калатскому хану не приходится ждать ничего хорошего от его английских друзей.

Некоторое время после этого я больше ничего не слышал о калатских делах. Газеты того времени, правда, изобиловали сообщениями о вероломстве Мехраб-хана, однако я имел основания сомневаться в их достоверности. Но в Карачи я видел письмо сэра Александра одному его другу, в котором он рассказывал о своей миссии к хану, о заключённом с ним договоре, о попытке устроить на него засаду на обратном пути и о заявленном им в Кветте отказе признавать договор. Из того же источника я узнал, что, когда армия вернётся из Кабула, хану намерены отомстить и что ему уготована потеря власти, а в случае поимки — остаток дней в качестве государственного узника.

Со временем бомбейская дивизия армии Инда, отступившая из Кабула в Кветту, получила приказ выделить отряд для похода на Калат, чтобы осуществить давно задуманный план

мести Мехраб-хану. Последствиями стали захват и разграбление города, гибель правителя и ряда подвластных ему вождей. Это дало повод для кратковременного торжества и ликования, но, к несчастью, были посеяны семена будущих бед, и зародышам беззакония суждено было созреть и принести смятение и позор.

Владения павшего вождя были расчленены, провинции Сахраван и Кач-Гандава присоединены к государству нового кабульского короля, а непримиримое негодование политических властей было столь сильно, что, отстранив сына покойного правителя Калата, они возвели на маснад Шах Наваз-хана, потомка старшей ветви его рода, и поставили его над остатками несчастной страны.

Пока совершались эти перемены, несомненно получавшие пространные оправдания в государственных бумагах, никто не счёл нужным объяснить их подданным покойного хана Калата. Они видели, конечно, как им навязывают нового правителя и разрывают на части их страну, но могли лишь отнести происходившее на счёт воли сахибов, одинаково удивительной и непостижимой для них.

Среди общего уныния и бедности, которыми военная беда поразила население Калата, мне было приятно видеть, что несчастья переносились с покорностью. Даже наиболее пострадавшие не произносили ни злобных, ни ожесточённых слов, но, как добрые мусульмане, приписывали беды собственным ошибкам и воле Небес. Однако все были едины во мнении, что Мехраб-хан не совершал измены британскому правительству и, следовательно, был принеcён в жертву незаслуженно. Если меня удивило это убеждение, то ещё больше поразило, что приписываемые ему преступления были здесь совершенно неизвестны, что выглядело крайне странно, ибо, будь обвинения обоснованны, жители должны были бы хорошо знать о них. Когда я привёл в доказательство недружелюбия покойного хана конфискацию зерна в Качи, о которой говорил мне сэр Александр Бёрнс, мне заверили, что ничего подобного никогда не было. Не желая всё же уступать в этом пункте, я настаивал, что обвинение должно иметь какое-нибудь основание, и наконец добился от одного человека объяснения, пролившего свет на это дело.

Оказалось, что Мухаммед Азем-хан, брат Мехраб-хана, был отправлен с конным отрядом в Котру, чтобы следить, дабы ничто не препятствовало продвижению британских войск, а также чтобы никто из жителей не ввязывался в ссоры с солдатами или сопровождавшими армию людьми. Находясь там и нуждаясь в деньгах, Мухаммед Азем-хан по собственному разумению и собственной властью потребовал известную сумму от местного индуса, а когда тот отказался исполнить требование, захватил его имущество, среди которого оказалась партия зерна. Индус стал утверждать, правдиво или нет, что купил это зерно для англичан; его собратья-торговцы, как обычно поступают они, когда один из них подвергается притеснению, закрыли лавки и прекратили торговлю. Однако вскоре было достигнуто соглашение, и после того как Мухаммед Азем-хан получил четыреста рупий, индусские лавки вновь открылись и торговля пошла по-прежнему. В этом случае донесение, вероятно, британского местного агента в Котру чрезвычайно преувеличило происшедшее, а английские офицеры, которым оно предназначалось, быть может, слишком охотно выслушивали любые жалобы на Мехраб-хана; таким образом, последствия попытки Мухаммед Азем-хана вымогать деньги у одного из собственных подданных превратились в глазах других в открытую и ничем не вызванную конфискацию зерна, собранного британскими агентами в Качи, о которой даже сам Мухаммед Азем-хан, при всей его никчёмности, никогда не помышлял. Более того, Мехраб-хан, узнав о вымогательстве, направил брату письмо со строгим выговором и предостерег его от повторения такого недостойного поведения. Не могу не упомянуть к чести Мехраб-хана, что в своих наставлениях подданным в Качи он прямо предписывал им в случае любого спора с человеком, принадлежавшим к британской армии, ни при каких обстоятельствах не отвечать силой, но обращаться с жалобой к генералу; распоряжение столь предусмотрительное, что я удивился самой мысли его отдать.

Допустив, что история с конфискацией зерна получила некоторое объяснение, оставалось разобраться в засаде на сэра Александра Бёрнса при возвращении его из Калата в Кветту, послужившей причиной его отказа признавать договор, заключённый с несчастным ханом. Если бы Мехраб-хан оказался виновен в столь гнусном поступке, было бы преступно приводить какие-либо доводы в его пользу, и следовало бы признать, что он заслужил постигшую его кару. Я был озадачен, узнав, что всем совершенно неизвестно о такой засаде, и обнаружив, что люди смеются над моим предположением, будто хан мог так вопиюще себя скомпрометировать. Признаюсь, судя по тому, что я знал о его нраве, и по тому, какие политические действия он, вероятно, мог предпринять, я сомневался в этом; однако всему противостояло ясное свидетельство сэра Александра Бёрнса. Все расспросы, казалось, были бесплодны, и я уже начал отчаиваться в надежде разрешить загадку; вместе с тем, поскольку подобное нападение на такого человека не могло бы произойти, не став общеизвестным, я почти заподозрил то, что вполне допускал характер сэра Александра: какой-нибудь ничтожный и незначительный случай был раздут им до происшествия большой важности и без должного расследования стал роковым для хана. Если этот несчастный вождь был невиновен и в данном случае, перед нами возникает прискорбное доказательство стечения неблагоприятных обстоятельств, ускоривших его гибель, и выражение, часто применяемое к нему, будто он был поражен Богом, становится справедливым. Мы даже можем поверить вместе с благочестивым мусульманином, что человек не способен облегчить участь или помочь тому, от кого отвернулся Бог.

Защитникам хана я всё ещё предъявлял подлое нападение на сэра Александра как неопровержимое доказательство его вины, но не находил никого, кто мог бы объяснить обстоятельство, о котором впервые узнал от меня, и потерял надежду получить по этому поводу более достоверные сведения; наконец случайно, во время разговора о других предметах, открылся факт, на котором основывалось обвинение.

Из Кветты сэр Александр отправился в Калат заключить договор с Мехраб-ханом. Его сопровождал некий Мухаммед Шериф, сайид, уже успевший заметно проявить себя в изменах, подрывавших власть брагуйского хана. Кроме того, посланник и министр уже прежде привлекли его на свою сторону, и теперь он, хотя и оставался подданным Мехраб-хана, действовал в интересах британского правительства. Мехраб-хан заключил договор согласно желаниям сэра Александра Бёрнса, и с этим договором сэр Александр направился обратно в Кветту, оставив своего мунши Мохан Лала сопровождать хана в британский лагерь, чтобы тот засвидетельствовал почтение его величеству шаху, а также посланнику и министру. Договор был заключён вопреки желаниям сайида Шерифа и его сообщника в злодействах, наиба муллы Хасана, обоих подкупленных посланником и министром и преследовавших общую цель — погубить своего хана и господина. Их намерениям отвечала отмена договора, который, будь он осуществлён, обеспечил бы прочность ханской власти и полностью расстроил их злые замыслы. Наиб мулла Хасан, оставшийся при хане, внушил ему, что цель сэра Александра — заманить его в Кветту, откуда его отправят государственным узником в Калькутту. Хан, склонный к подозрительности, заколебался; однако тревога его рассеялась, и дальнейших бед могло не случиться, поскольку письмо сэра Александра известило его, что шах уже выступил из Кветты; следовательно, не было никакой надобности утруждать себя поездкой туда.

Сайид Шериф решился теперь на смелый шаг, чтобы уничтожить последствия этого известия и обеспечить гибель хана. Он представил сэру Александру дело так, будто коварный и злонамеренный Мехраб-хан раскаялся в заключении договора и приказал отряду перехватить его. Сэр Александр, вполне доверившись своему злодейскому спутнику, передал ему на хранение, для тайного укрытия, договор и две тысячи рупий деньгами. Документ и деньги положили внутрь покрывала, которые везли на спине верблюда. Грабители, назначенные самим сайидом, напали на обоз сэра Александра, несколько верблюдов были уведены в качестве добычи, и среди них — тот, на котором находились договор и деньги. Если я верно помню, сэр Александр

утверждал, что двое или трое его спутников были убиты или ранены. Предприятие сайида удалось; он слишком хорошо знал ференги, чтобы опасаться, будто они проникнут в его уловку, и позор чудовищного поступка был возложен на невинного Мехраб-хана. Сэр Александр добрался до Кветты и заявил об отказе признавать договор. Калатский хан, услышав о грабеже, но не подозревая, что его самого считают подстрекателем, распорядился произвести розыски и особенно призвал к ответу своего наиба Рехимдада, находившегося в Кветте, поскольку происшествие случилось в пределах его ведения. Наиб сообщил ему, что виновник — сайид Шериф, а предводителями шайки были его племянник и садовник, которым он выплатил в качестве платы и награды тысячу четыреста рупий. Хан, зная, что сайид получает жалованье британского правительства и служит его интересам, не счёл нужным принимать дальнейшие меры, рассматривая это дело как более касавшееся ференги, чем его самого, и всё это время оставаясь в неведении, что его подозревают в преступлении или обвиняют в нём. Это открытие причинило мне глубокую боль, но едва ли удивило, поскольку я знал, с какой поспешностью сэр Александр Бёрнс привык делать выводы, никогда не стараясь выяснить, верны они или нет; и всё же последствия оказались столь роковыми, что невозможно было не испытать омерзения и ужаса при мысли о том, что судьбы людей были отданы на милость жалких политических чиновников, которым лорд Окленд в то время благоволил доверять.

Хотя обвинение в устройстве засады на сэра Александра Бёрнса получило объяснение, оставалось ещё одно обвинение, которое следовало снять, прежде чем можно было оправдать хана в подозрении о вражде к британскому правительству: сопротивление проходу войск через Боланский перевал и серьёзные грабежи, совершённые в отношении их обоза. Я легко мог понять, что грубые и не знающие закона племена, жившие по соседству с этой дорогой, почти не нуждались в побуждении или поощрении со стороны хана, чтобы следовать своим естественным наклонностям и привычке грабить и разрушать; однако необходимо было удостовериться, что вождь не подстрекал их, как это ему приписывали. И в данном случае добрая слава Мехраб-хана выдержала испытание расследованием, ибо выяснилось, что он не только никогда не содействовал подобным нападениям и не советовал их, но и сами они в значительной мере происходили вследствие враждебности к нему его собственных неверных подданных; а те, в свою очередь, были подкупленными и доверенными агентами британских политических властей. Преступниками в этом деле были Гулам-хан и Хан Мухаммед, братья Дауд Мухаммеда, прежнего советника Мехраб-хана из племени гильзаев, который был убит наибом муллой Хасаном по приказу хана; это событие избавило хана от властного, если не изменнического министра, и вернуло муллу к власти и деятельной службе.

Братья-гильзаи ещё при жизни Дауд Мухаммеда, когда тот обладал неограниченной властью, породнились через браки с брагуйским племенем бангулзаев и приобрели в нём влияние. Желание отомстить за смерть брата побудило их искать связей с британцами, и их услуги были с готовностью приняты; рассказы об измене Мехраб-хана, разумеется, составляли главное содержание их сообщений, а причина, по которой они были им недовольны, служила для них рекомендацией. Им нужно было подтвердить утверждения об измене; для этого и одновременно для того, чтобы замешать в дело хана, они подняли бангулзаев, хурдов и другие племена, обитавшие близ Болана. Следует понимать, что Мехраб-хан не имел действительной власти над Боланским проходом, и, если бы он сам прошёл через него с войском, ему угрожали бы те же мелкие грабежи, что и сэру Джону Кину или любому другому генералу; однако грабежи ограничились бы угоном отбившегося или уставшего верблюда, когда представлялся удобный случай, и, кроме того, нельзя забывать, что некоторые племена, особенно часто промышляющие на перевале, — марри и хакасы — даже не были подданными Калата. Если бы не ухищрения Гулам-хана и Хан Мухаммеда, британская армия прошла бы Боланские теснины без потерь или с такими, которые могла бы предотвратить небольшая бдительность. То, что произошло обратное, следует приписать этим людям, друзьям посланника и министра, а не

вражде Мехраб-хана. К этому несчастному вождю постоянно обращались кандагарские сардары, Асад-хан из Харана и другие люди, убеждая его соорудить сангары и защищать проход, причём Асад-хан вызывался руководить обороной; но хан столь же неизменно отказывался, оставаясь верным своему решению не чинить препятствий продвижению британской армии. Поскольку обвинение в подстрекательстве к грабежам на Боланском перевале было одним из наиболее серьёзных, выдвинутых политическими властями против Мехраб-хана, и ради его подтверждения они немало старались, нельзя не улыбнуться тому доказательству, которое они добыли, скупая перочинные ножи и хирургические инструменты у племён Мерв и Испринджи. Всем было известно, что племена грабили, однако никто не позаботился установить, кто побудил их к этому; а об этом никто не знал лучше Гулам-хана, друга посланника и министра.

Если измена братьев Дауд Мухаммеда оправдывала хана в том, что касалось Болана, оставался ещё один вопрос, в котором я желал удостовериться, прежде чем мог согласиться с выводом моих калатских друзей о его невиновности в отношениях с британскими властями или признать вместе с ними, что он не пытался воспрепятствовать движению армии. Речь шла о большом количестве зерна, запасённого им в Калате, ибо я не мог не думать, что, если он, объявляя страну открытой для британских агентов, покупавших продовольствие, тайно приказал запретить продажи и направлял всё зерно в собственные амбары, подобный образ действий едва ли можно назвать дружественным, ведь нет разницы, погублена ли армия мечом или голодом, открытым насилием или тайным обманом. По словам моих собеседников, скопление зерна в Калате не имело никакого отношения к походу британских войск, а было следствием совета дивана Бачи, индусского агента хана, рекомендовавшего это как финансовую меру, осуществление которой началось за три года до того, как вообще задумали английскую экспедицию. Индус предложил воспользоваться засухой и вызванной ею нехваткой зерна и увлёл Мехраб-хана надеждой наполнить его казну; однако полагали, что от спекуляции и созданной им монополии он получил больше выгоды, чем его господин, ибо всё участие Мехраб-хана заключалось в том, что он отправил на хранение то количество зерна, какое обычно выдавал своим приближённым, выплачивая им взамен деньги, тогда как индус на собственные средства производил обширные закупки по всей стране и подчинял ханскую власть своим целям. Монополия вызывала у народа чрезвычайное негодование, и, когда диван был убит (ибо он разделил судьбу своего господина), никто не сожалел о нём.

У меня оставалось ещё одно обвинение против Мехраб-хана, которое, хотя и не предполагало с его стороны большого злодейства, могло свидетельствовать о том, что он высоко ценил выгоды своего союза. Я узнал от сэра Александра Бёрнса, что хан потребовал возвращения ему порта Карачи эмирами Синда в качестве платы за свою дружбу. В своё время меня это несколько позабавило, и не столько само требование, сколько ярость, которую сэр Александр из-за него выказывал, ибо я не мог забыть, что скромное требование Дост Мухаммед-хана в Кабуле отдать ему Пешавар и его область, никогда ему не принадлежавшие, было выслушано весьма благосклонно; к тому же я знал, что Карачи некогда принадлежал калатскому роду. Однако теперь, когда я приводил это убедительное доказательство самонадеянности и преступности Мехраб-хана, мне стало довольно стыдно обнаружить, что мою собственную рассудительность ставят под сомнение за одно упоминание об этом, ибо оказалось, что требование было выдвинуто лишь по правилам дипломатии, причём ни хан, ни кто-либо другой не предполагал, что Карачи действительно будет возвращён. Если дело обстояло так, а у меня, полагаю, мало причин сомневаться в этом, неопытность сэра Александра Бёрнса в восточной дипломатии привела здесь к тем же ошибкам, что и в Кабуле; Дост Мухаммед-хан лишился своей власти, а Мехраб-хан — престола и жизни, поскольку сэр Александр, посланник и министр не понимали, что на Востоке при переговорах принято начинать с больших и чрезмерных притязаний, затем постепенно уменьшать их и, наконец, вовсе отказываться от них. Отступление от этого правила, как мне заметили, навлекло бы на Мехраб-хана и его государственных людей

обвинение в тупости и неспособности; и те, кто смеялся над мыслью, будто он действительно рассчитывал получить Карачи, утверждали, что его совершенно несправедливо сочли несговорчивым и самонадеянным лишь за соблюдение правил искусства, которых его противникам не хватило проницательности понять.

Таковы были объяснения и сообщения, полученные мною относительно некоторых обвинений против Мехраб-хана, о которых мне стало известно. Те, кто их выдвигал, и те, кто советовал и одобрял меры, приведшие вследствие этого к падению несчастного человека, разумеется, вольны представить свидетельства, опровергающие сказанное. Пока же они этого не сделают, боюсь, слишком справедливым окажется мнение, что правитель Калата был принесён в жертву недостатку простого здравого смысла и озлоблению политических чиновников, действовавших к западу от Инда.

Когда армия сосредоточилась в Шикарпуре и готовилась выступить к Кандагару, всякий, кто хотя бы немного был знаком с положением стран, через которые она должна была пройти, с обстоятельствами и политикой их правителей, и кто поразмыслил бы о возможных происшествиях, счёл бы упорство или враждебность правителя Калата одним из наименее вероятных событий, поскольку движение армии сулило ему одни выгоды, если предположить, и вполне основательно, что ему не замыслили никакого зла. Поэтому известие о приписываемой ему измене стало для меня совершенно неожиданным, и, хотя я знал, что его окружают дурные советники и что он обладает лишь заурядными способностями, всё же подозревал, что значительная часть его несчастий произошла скорее от недоразумений, нежели от вины. Поэтому мне хотелось выяснить, каковы были его чувства, когда он узнал об экспедиции за Инд, ибо открывавшиеся перед ним преимущества были столь очевидны, что, отвергнув их, он, даже оправдавшись от обвинения в преступлении, оставался бы виновен в меньшем пороке — глупости. Меня заверили, что известие о приближении британской армии он встретил с большим удовлетворением; что он так обрадовался, что, по выражению моего рассказчика, «будь у него крылья, он полетел бы ей навстречу». В то время он верно понимал своё положение и те выгоды, которые неизбежно принесло бы ему содействие целям британских властей. Он видел, что скоро избавится от постоянного страха перед своевольными и деспотичными сардарами Кандагара и от подозрений, которые ему время от времени приходилось испытывать по отношению к объединившимся вождям Синда. Он также видел, что его власть в собственных владениях, несомненно, будет прочно утверждена, и воображение рисовало ему приятную картину: непокорные и мятежные вожди, причинившие ему за годы правления столько хлопот и тревог, стоят у его ног как смиренные и покорные просители милости. Находясь в столь благоприятном расположении духа, он написал сэру Александру Бёрнсу, выражая сильное желание встретиться с ним, но прося освободить его от присутствия лейтенанта Лича, поведение которого пришлось ему не по нраву.

При таком расположении калатского хана стоит взглянуть на одновременные действия британских властей в Шикарпуре, ибо будет лишь справедливо осведомиться, какие шаги они предприняли для обеспечения и укрепления добрых чувств хана и каким способом сочли нужным расположить его к себе. Я уже отмечал, что по поводу предполагаемой конфискации в Качи сэр Александр адресовал хану письмо, которое должно было его «ошеломить», и что Шах Шуджа уль-Мульк напомнил ему о присутствии Шах Наваз-хана (претендента на калатский престол) в королевском лагере. Таким образом, начало переписки между ханом и властями Шикарпура не предвещало ничего доброго.

В Калате признавали необходимость попытаться устранить недоразумение и решили отправить посольство к посланнику и министру; затруднение состояло, однако, в выборе подходящего представителя, и можно с полным основанием сказать, что у хана не было достойного человека для этой миссии. Желających занять почётную должность было много, однако наиб мутла Хасан в силу своего служебного положения одержал верх. Тут впервые проявились

слабость и ослепление Мехраб-хана. Он не воспротивился отправлению наиба с миссией, хотя знал о его недоброжелательстве и был нравственно уверен, что тот его предаст. Единственным оправданием крайней неосмотрительности хана служит то, что, видя приём и покровительство, оказанные Шах Наваз-хану, угрожающие письма шаха и сэра Александра Бёрнса и опасаясь, что лейтенант Лич причинит ему вред, он уже считал себя обречённым; на это указывали и на этом настаивали близкие к нему люди, желавшие его падения, особенно наиб муллы Хасан, преувеличивавший опасность, дабы показать неотложность и важность своей миссии.

Наиб избрал себе спутником сайида Мухаммеда Шерифа, другого изменника, столь же подозрительного и ненавистного хану. Пока это странное посольство находилось в пути, хан со своей стороны продолжал осторожную политику, стараясь всячески избегать поводов для неудовольствия, и все его распоряжения вождям и подданным в Качи были проникнуты тем же духом.

Мне неизвестно, состоялась ли встреча посланника и министра с наибом муллой Хасаном в Шикарпуре или дальше, в Баге. Её последствия оказались замечательны. Чтобы погубить Мехраб-хана, наibu мулле Хасану нужно было обмануть как посланника и министра, так и намеченную жертву. Ему это вполне удалось. Вместо того чтобы защищать интересы господина, он обвинил его в самых пагубных замыслах и намерениях, и доверчивый посланник и министр, к несчастью, ему поверил. Тем же духом он заявил о собственной горячей преданности, ему снова поверили, и высший политический представитель при армии Инда подписал документ, обязуясь вознаградить службу и расположение предателя. Что бы ни думали об этой сделке, боюсь, она говорит не в пользу здравого смысла и принципов посланника и министра, ибо как мог человек, обладающий здравым смыслом, быть так легко обманут и как мог человек хотя бы обычных нравственных правил довериться заявлениям негодяя, прилагавшего усилия, чтобы повредить правителю, чьим слугой он был и чьё дело взялся защищать? Другим пагубным следствием этого дела было то, что оно не осталось вполне тайным, а потому подтвердило все мрачные предчувствия Мехраб-хана.

Британский чиновник, однако, тогда ещё не замышлял уничтожения калатского вождя или даже его низложения; мулле Хасану было велено возвратиться в Калат и убедить хана отказаться от своего пагубного пути, и он откланялся, радуясь успеху собственного злодейства, тогда как его жертва обмана, посланник и министр, гордился удачным дипломатическим ходом, благодаря которому ему удалось привлечь на свою сторону министра Мехраб-хана.

В Калате мулла Хасан заверил хана, что англичане вероломны, что они намерены отправить его в Калькутту и что надеяться ему на них нечего; что они старались лестью и денежной приманкой привлечь самого муллу, но, слава Богу, его преданность хану непоколебима. Он успокаивал хана, уверяя, что они сравнительно слабы, что их настоящие силы невелики и бояться их почти нечего. Мулла Хасан не ограничивал свою ловкость подобными рассказами, но, сообщая посланнику и министру, что все его усилия привести строптивого хана к должному пониманию собственного положения бесплодны, что тот по-прежнему следует путём сопротивления и постоянно занят новыми кознями и заговорами, одновременно рассылал множество писем от имени хана, скреплённых его печатью, которой по должности владел, различным лицам по всей стране, призывая их всеми доступными средствами препятствовать движению британских войск. Многие из этих писем были перехвачены, вероятно, как и было задумано, и, разумеется, убеждали посланника и министра в порочности калатского хана, который в действительности не знал о них ничего. Соучастники муллы Хасана — сайид Мухаммед Шериф и братья покойного Дауд Мухаммеда — столь же неумолимо подстрекали племена к грабёжам, одновременно приписывая причинённые ими бедствия неуголимой вражде хана.

При таком стечении злодейства и ослепления британская армия прошла через Качи и теснины Боланского перевала и расположилась лагерем в Кветте. Пока войска находились в Качи, хан, со своей стороны, совершенно свободно позволял им пересекать провинцию по любому

выбранному пути, а когда поступило предложение, чтобы бомбейская дивизия прошла Мул-лохским маршрутом, то есть через Калат, не встретил и этому никаких возражений. По этому пути действительно не пошли, но хан показал, что не питает вражды, ибо не воспротивился предложению; и о его покорном расположении можно судить по тому, что он соглашался допустить военные силы к своей столице.

Несмотря на грабежи, совершённые на Боланском перевале и приписывавшиеся враждебности Мехраб-хана, не видно, чтобы уже тогда против этого правителя вынашивали мысль о мести, и была предпринята последняя попытка причислить его к друзьям. Сэру Александру Бёрнсу, состоявшему при миссии с титулом посланника в Калат и другие места, разумеется, предназначалось примирить непреклонного хана, и с этой целью он покинул Кветту. Он, как и посланник и министр, был столь мало знаком с действительным положением дел в Калате, что избрал своим спутником сайида Шерифа. Полагают, что сэра Александр предложил хану ежегодно по полтора лакха рупий за поддержание открытой дороги между Шикарпуром и Кветтой. Договор такого содержания был подписан и скреплён печатями, и оставалось лишь хану вернуться с сэром Александром в Кветту, чтобы там засвидетельствовать почтение шаху и посланнику и министру. К этому визиту хан, несомненно, испытывал большое отвращение, ибо, весьма охотно соглашаясь встретиться с посланником, крайне не любил необходимости являться к шаху, о котором держался менее благоприятного мнения, нежели его английские союзники. Противодействие наиба муллы Хасана и сайида Шерифа оказалось недостаточным, чтобы воспрепятствовать заключению договора; однако они не переставали убеждать хана, что поездка в Кветту станет роковой для его свободы, если не для жизни. Как только посланник и министр прибыл в Кветту, наиб и его сообщники-изменники, по-видимому, предстали перед ним; тогда стали настаивать на том, чтобы Мехраб-хан прибыл в Кветту, о чём мулла Хасан сообщил хану, но, обещая убедить его выполнить просьбу, сам самым настойчивым образом отговаривал его, утверждая, что это верная гибель, и заканчивал мольбой не обвинять его в пренебрежении долгом или в том, что он не предупредил о беде, если хан по собственной мудрости решится на роковой шаг. Письма были полны самых яростных обличений вероломных намерений британских властей. Сэр Александр Бёрнс покинул Кветту, похваляясь, что вернётся с Мехраб-ханом; чтобы вернее достичь успеха, он выдал хану двадцать тысяч рупий на путевые расходы. Такая неожиданная щедрость придавала силу внушениям, которыми наполняли уши хана, а когда бедняга пожелал взять с собой отряд в пятьсот человек, чтобы явиться соответственно своему достоинству, сэра Александр сказал ему, что достаточно и двадцати, что доставило торжество мулле Хасану и его шайке, обратившимся к хану с вопросом, разве не достаточно ясно, что единственное желание сэра Александра — заманить его в Кветту, схватить там и отправить в Калькутту. Тем не менее Мехраб-хан распорядился поставить свои палатки за городом, готовясь к выступлению, но поспешность сэра Александра Бёрнса, торопившегося сообщить известие о своём успехе и принять поздравления, которыми, как внушало ему тщеславие, его осыплют, нанесла окончательный удар договорённости, ибо он отправился в Кветту, оставив своего мунши Мохан Лала при хане. Несчастный заметил, что Сикандар (сэр Александр) воображал обмануть его улыбками и заискивающими взглядами, а теперь оставил у него своего мунши, о котором хан отзывался ещё менее почтительно. Мохан Лал воспользовался отсутствием снисходительного покровителя, чтобы делать вид, будто у него имеются особое влияние — «джуда рах» — на лорда Окленда, на основании чего он вознамерился купить красивую каниз, или рабыню. Озадаченный хан был возмущён. Пошёл бы он с сэром Александром — неизвестно, но было бы чрезмерно ожидать, что он последует за свитой Мохан Лала. Он медлил, пока не пришло письмо от сэра Александра с сообщением, что необходимости посещать Кветту больше нет, поскольку шах выступил в поход; после этого Мохан Лал оставил Калат, и дарога Гул Мухаммед сопровождал его до подножия Ходжакского перевала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.